Антология жизни



Вера и правда

Антология жизни

Геннадий Дёмочкин

Вера и правда

(одна из поколения)

Ульяновск
2012

УДК 82-94
ББК 84 (2 Рос=Рус)
Д 31

Дёмочкин, Г. А.

Д 31 Вера и правда (одна из поколения)/ Г. А. Дёмочкин. – Ульяновск, Областная типография «Печатный двор», 2012. – 112 с.

ISBN 978-5-7572-0335-5

В основе книги – откровенный и порой шокирующий рассказ фронтовички Веры Ивановны Соловьевой о том, каково это – женщине быть на войне. Ценой каких лишений и страданий досталась нашему народу победа над фашизмом. Одна из миллионов – о себе и о своем поколении.

Рассчитана на широкий круг читателей.

УДК 82-94
ББК 84 (2 Рос=Рус)

ISBN 978-5-7572-0335-5

Такого поколения больше не будет.
Оно уходит. Это святое поколение.

Михаил Ульянов,
народный артист СССР.

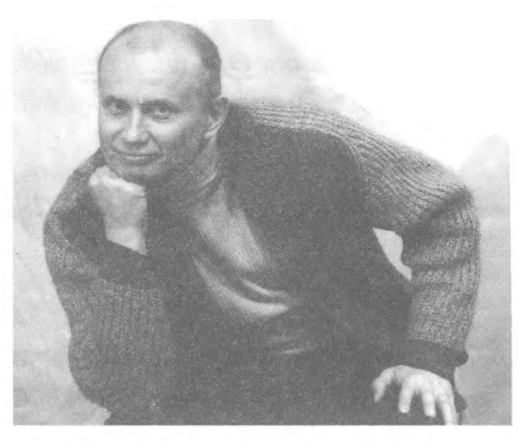
* * *

Я знаю, что есть люди, без которых трудно представить город или село. Они являются центром, ядром, они неразрывно связаны с биографией того или иного места жительства и привычны для окружающих, как памятники старины и архитектуры. К числу таких людей я и отношу нашу славную Веру Ивановну Соловьеву.
Вобрав в свою жизнь события девяти десятилетий, она является яркой страницей истории страны и живой летописью нашего города.

Евгений Ларин, журналист, литератор.
г. Димитровград (Мелекесс).

* * *

Надпись на подарочной кружке:
«Вера – от старославянских слов «вера», «верование». Основные черты: воля, цельность и глубина.



К Читателю

Представляю на Ваш суд двадцатую книгу из цикла Библиотека «Антологии жизни». Посвящена она замечательному человеку, фронтовичке, педагогу, партийному и советскому работнику Вере Ивановне Соловьевой.

Помню тот жаркий июньский день 2011 года. Мы с коллегой в гостях у главы города Димитровграда Николая Анатольевича Горшенина. Каким-то образом разговор заходит о войне, о старшем поколении. Глава будто что-то радостно вспоминает, берет телефонную трубку и спрашивает: «Хотите я вас познакомлю с Человеком?» На слове Человек при этом делается такое ударение, что становится кое-что понятно.

Мы, конечно, киваем, а Николай Анатольевич набирает номер и, услышав ответ, произносит: «Здравствуй, мать». Мы с коллегой удивленно переглядываемся. (Потом узнаем, что Горшенин дружил с приемным сыном Веры Ивановны, был вхож в их семью, потом Виктор умер, и Николай считает Веру Ивановну своей второй матерью).

...Прошел только месяц с тех пор, как я похоронил маму. Мама ушла на 93-м, Вера Ивановна готовилась отметить 90-летие. И еще – война, для обеих это было главным событием, что бы потом в их жизни ни происходило. Призна-

юсь: общаясь с Верой Ивановной, я иногда ловил себя на ощущении – будто я с мамой разговариваю, доспрашиваю ее о том, о чем не успел (или не догадался, не посмел) спросить при жизни.

Этой книгой я хочу отдать дань поколению наших родителей. Великому поколению. Все, что могу...

Искренне Ваш,
Геннадий Дёмочкин.



– Моя мама родилась на Дальнем Востоке, на золотых приисках в 1900 году. Родители ее были старатели, работали в артели по добыче золота. Это было недалеко от города Зея. Город назван по имени реки. Зея – это приток Амура. В разные годы это была и Читинская область, и Дальне-Восточный край. Сейчас это Амурская область.

Мама и ее младшая сестра Нюта учились в школе и жили на квартире в городе, когда сначала умерла их мать, а потом отец. Так они и остались у той женщины (ее фамилия Муранова), у кого стояли на квартире.

Обе девочки закончили по семь классов. И мама, когда выходила замуж, искала себе скорее не мужа, а хорошего человека, который возьмет ее с сестрой.

Эта Муранова, их квартирная хозяйка, была белошвейка, лучшая портниха в городе. И мама у нее стала учиться. Та не задаром держала девочек у себя, они работали у нее с утра до ночи.

Дедушка и бабушка по папиной линии приехали на Дальний Восток еще в конце 19-го века. Тогда специально набирали группы переселенцев и создавали им все условия для обустройства на новом месте. Дедушка и бабушка (еще молодые) жили в Нижнем Новгороде и попали в такую команду из тридцати семей.

Их везли по железной дороге до Благовещенска, а потом они плыли на пароходе по Амуру. Доплыли до места – тайга, сопки, река огромная. Как хочешь обустраивайся. Бери сколько надо земли, леса, дичи, рыбы... А людей подбирали специально по разным профессиям: и строитель, и портной, и пекарь, и часовой мастер. Дедушка пек хлеб, у него была пекарня и небольшая лавочка.

Стали они по очереди строить себе жилье: места и материала – сколько хочешь, строй хоть в три этажа. Первую улицу назвали Мухинская. Дома делали огромные, по 6-8 комнат. Даже заборы там ставили не как здесь – два столбика и перекладина. Там рылась канава, туда закладывали осмоленные бревна – как фундамент. А дальше высокий забор. Городок получился маленький, но очень красивый.

У дедушки с бабушкой было две дочери и сын – мой будущий папа. В 1917-м, когда началась революция, папа служил в армии, во время революции дезертировал, воевал в красных партизанах, попал в плен к белым, сидел в тюрьме на Русском острове, с друзьями оттуда бежал. Пробрались

они в Зею, дедушка прятал их в амбаре (выпускал ночью, чтобы подышали воздухом).

Когда закончилась гражданская война, отец стал помогать дедушке в пекарне, женился, жену звали Катя, она была красивая, он очень ее любил. Эта Катя умерла во время первых родов (и ребенок умер). Папа остался холостым.

Потом он стал ходить в дом, где жили мама с сестрой. Маме было 17-18 лет, она папе понравилась, он был на 10 лет старше. Когда он сделал предложение, она ему поставила только одно условие: чтобы сестра была с ними. Папа согласился. Вот так они и поженились. Мама мне потом говорила, что отца она не любила, да и он ее не любил, все не мог забыть свою Катю.

Знаю, что отец был человек очень честный, энергичный. Мне мама говорила: «Тебе надо было парнем родиться, ты вся в отца». Папа очень ждал сына – наследника, а родилась я, это было в 1921 году.

А когда через два года родился Шурка, в папиной родне был настоящий праздник. Мама мне потом рассказывала: «Я лежу, ты ходишь на улице, плачешь, на тебя никто внимания не обращает. И только разговоров: ой, наследник родился, ой, Шурик, ой, Шурик! Я говорю Нюре, сестре папкиной: «Ну Веру-то возьмите, она ведь вся исплакалась, под окнами ходит, а там дождь...»

Чем интересен был город Зея? По сравнению с Мелекессом он был значительно культурнее. Там было много интеллигенции. Вокруг города шла золотодобыча. А в Зее был комбинат «Союззолото», где работали специалисты, в том числе и иностранные. Причем некоторые со своими

семьями. У одного инженера жена была режиссером, она создала ТРАМ, театр рабочей молодежи. Драмкружок был – закачаешься! Они были лучше профессионалов. У другого инженера жена была балерина, она стала вести хореографию. Ну и другие были специалисты.

И как-то жили очень хорошо. По воскресеньям, как будто очередь была, они ходили друг к другу в гости. И к нам приходили. Мужчины играли в преферанс. Потом еще какая-то игра была – в стуколку. Здесь уже и женщины играли. Потом ужин: закусочка, пельмени обязательно варятся. Водка, но немного. У меня отец совсем не пил, никакого.

А пельмени, котлеты, фрикадельки – это все замораживалось в большом количестве на зиму. Как наступали холода, целыми семьями (и малые дети) по вечерам лепили пельмени. Вот такой тазище мяса мололи. Фарш был смешанный: оленина, иной раз медвежатина, говядина, свинина. Пельмени сначала складывали на листы из русской печки и выносили на мороз. А морозы там под сорок градусов. Через 20 минут пельмени как каменные, и их складывали в металлические большие банки из-под спирта (у всех они почему-то были). Все это закрывалось и выставлялось в кладовку. Когда надо, кто пришел в гости или поехал в тайгу, пельмешки всегда нужны. Также и котлеты, и фрикадельки. Все это – на всю зиму.

Мама у меня была очень активной женщиной. Она была, как тогда говорили, делегаткой, тогда это было как-то модно и поощрялось. Простая женщина, которую Советская власть раскрепостила, дала большие права. Есть фотография, где мама среди делегаток какого-то собрания.

Были это, в основном, домохозяйки. Кроме своих дел по дому они вели еще и общественную работу – занимались воспитанием чужих детей. Помню, мама приходила к нам в пионерскую дружину и что-то рассказывала. Около нашего дома народ собирался, мама им тоже что-то говорила. (Я маленькая была и не помню, о чем шла речь).

Я пошла по маминым стопам. В младших классах вступила в октябрята, это было очень интересно. Стала за собой таскать младшего брата. Соседи маме говорили: «Зачем ты, Ирина Васильевна, им это разрешаешь? А вдруг опять власть сменится?» Она с отцом на эту тему поговорила, и он ей сказал: «Не вмешивайся в их жизнь, нравится им там, пусть ходят».

Потом меня приняли в пионеры. (Пионерская дружина у нас носила имя какого-то дальневосточного героя-матроса). Это такое было счастье! У меня аж дыханье перехватывало! В мае у нас еще холодно, а я в одной рубашке выскочу на улицу, стою и показываю всем, что я в пионерском галстуке. «Нате смотрите, я – пионерка!»

Мама отцу все говорила: «Ваня, ну возьми ты хоть удостоверение, что ты партизан». Он отвечал: «Мне оно не нужно. А эти шпингалеты (на нас) – пусть сами себе в жизни все зарабатывают».

Папа сначала помогал дедушке в пекарне, а потом ушел на лесоразработки, и оттуда его привезли уже еле живого – у него отказывали почки. Встал вопрос, где оперироваться. Он не поехал ни в Новосибирск, ни в Москву, он поехал в город Свободный, потому что там главным хирургом был партизан по фамилии Рухлятьев, с которым они вместе

были в отряде. Тот его хорошо принял, и операция вроде бы прошла успешно (одна почка была забита камнями, ее вырезали, вторая тоже была поражена). Но на третий день папа умер. Это было в 1930 году, ему было 40, маме 30, мне девять лет, а Шурику семь.

На похороны мама ездила одна. Когда вернулась и сняла шаль, мы увидели, что она вся белая – поседела за несколько дней.

В школьные годы я мечтала стать инженером по цветным металлам. Там, где я родилась, все было связано с золотом. И мне казалось, что других специальностей просто нет. На комбинате «Союззолото» главными специалистами были иностранцы· американцы, англичане. (Своих специалистов не было). Все знали, что иностранцам платят громадные деньги. И я сказала себе: «Я выучусь на инженера по цветным металлам, приеду на родину и буду работать». Но у меня это не получилось.

Я с детства была какая-то больная, настоящий заморыш. Как-то дядя поехал в командировку во Владивосток, взял с собой меня. Там отвел к доктору и тот определил искривление позвоночника. Жили мы там три месяца, доктор меня лечил, а дядя развлекал как мог: ходили в театр, гуляли по городу, любили бывать в порту. Ну и в результате в учебе я отстала, и меня в шестом классе оставили на второй год. И вот в шестом классе, в декабре (это был 1934 год) мы с мамой переехали на Волгу, в Мелекесс. Почему?

В Зее у нас была сначала очень большая семья: папа,

мама, я, Шурик, бабушка, дедушка, у них дочь, у дочери двое детей, еще дочь, у той трое детей. Потом была еще одна девушка бедная, вроде воспитанницы. Еще была сестра мамы. Еще жил друг отца по партизанскому отряду (он был ранен в ногу и как-то ее волочил).

Короче, было нас человек 15, семья огромная, но все жили дружно, я даже сейчас удивляюсь. Было распределено дежурство. Если мама неделю дежурит на кухне (завтрак, обед, ужин), то с ней дежурит сестра Нюта. Нюта убирает комнаты (а их 7-8). На следующей неделе дежурит папина сестра и берет себе в помощницы свою младшую сестру. Мама в это время занимается своим делом – шьет, вышивает.

И такой везде был порядок, каждый за что-то отвечал. А когда в 1930 году умер папа, все как-то стали разъезжаться и отделяться. Папина сестра пошла воспитывать ребенка своей младшей сестры (та умерла). Девочки выросли и разъехались, кто в Иркутск, кто в Новосибирск, замуж повыходили. И мы с мамой, бабушкой и Шуриком остались вчетвером.

А тогда там было какое-то поветрие: всем Дальний Восток надоел, всем хотелось в центр, поближе к столицам. Тетя с подругой и с мужьями распродали в Зее свое имущество и поехали в Москву. (Тетя с дядей взяли с собой нашего Шурика).

Там они хорошо пожили, везде бывали, деньги тратили. Потом стали думать, где устраиваться на житье. Решили: поедем в Астрахань. Поехали. А их там малярия затрепала вдребезги. Они обе месяца два в лежку лежали! А деньги-то уже на исходе. (Хорошо их тогда жизнь поучила).

И вот дядя говорит им: «Вы знаете, я в 21-м году был в

Мелекессе, это маленький хороший городок. Давайте поедем туда, может быть, денег хватит там домик купить». Так они оказались в Мелекессе.

А мы с мамой очень скучали по Шурику, Шурик скучал по нам. Ему было 11 лет, мне 13. И мы с мамой решили перебираться к ним. Имущество все распродали, оставался дом.

Дом принадлежал наследникам: мне и Шурику. На воротах висела даже табличка (такой порядок был): «Мухинская улица, дом 111. Наследники: Соловьевы – Вера, Александр». Но фактически дом был уже не наш: мы занимали только одну комнату, остальные были заселены по ордерам ЖЭКа.

Формально мы были собственниками, но продать этот дом не могли. Чтобы окончательно забрать у нас дом, маму начали душить налогами. Она только один заплатит, ей другой несут. А мама работала на дому: стежила на заказ атласные одеяла, выделывала воротнички, платочки, даже знамена вышивала. Сидела и день и ночь. Только рассчитается – опять налог какой-то, опять налог... Бороться с этим сил уже не было.

И однажды маме сказали: «Ну что ж, раз не платите, сдавайте дом». И мама сдала, хотя формально не имела права распоряжаться нашим имуществом. У меня до сих пор эта справка лежит, что «Соловьева Ирина Васильевна добровольно сдала дом в собственность государства». Таким образом мы дома лишились.

После смерти папы у мамы случился роман. Он был начальником РКИ (Рабоче-крестьянская инспекция), большой начальник, жил в нашем доме (его подселили по ордеру). Фамилия его была Межотуч. Семьи у него не было, он уха-

живал за мамой и, видимо, она впервые в жизни почувствовала мужскую ласку.

Он и к нам с братом относился хорошо, и мы его любили (идет с работы, мы бросаемся к нему на шею). Но его перевели из Зеи в Петропавловск-Камчатский. Они договорились с мамой, что она приедет к нему. Он ей часто писал и ждал нас к себе.

И вот мама завела со мной такой разговор. «Знаешь, Вера. Папы у вас нет, Владимир Донатович (это его имя было) очень хорошо к вам относится. И он нас приглашает к себе на Камчатку».

Ой, как я соскочила! Да давай кричать! Да не нужен никто! Я Шурку заберу и мы уйдем к тете Леле (папиной сестре)! Такой скандал маме учинила! Хорошо помню эту сцену, потому что мама сильно плакала. Плачет и мне говорит: «Нет-нет, успокойся, Верочка, ничего не будет».

А я соскочила, Шурку за ручонку схватила и убежала к этой Леле. Мама потом пришла, давай нас уговаривать: «Никуда я не поеду, я только с вами...» И ему написала.

А он нам оттуда бурки присылал, разные меховые вещи, хорошие продукты. И когда этот разлад произошел, он писать перестал. Мама очень тяжело переживала, она в жизни как женщина ничего хорошего не видела. (Да и у меня в личной жизни ничего не сложилось).

Как мне было потом перед мамой стыдно... Обидела я ее очень... Да и жизнь у всех нас могла пойти по-другому.

Школа там была слабая. Кадров на Дальнем Востоке не хватало. Моя двоюродная сестра кончила 9 классов, проучилась два месяца на курсах и стала у нас в классе препо-

давать. Я ей говорю: «Женька, что ты знаешь?» А она: «Сиди, я учитель». – «Ну, ладно».

Какой-то тогда был дурацкий бригадный метод. (Тоже, видимо, не от хорошей жизни). Сидели мы по «бригадам», вот так столы были составлены, за каждым 6 человек. Учебников на всех не было. Дадут на каждый стол по книжке: «Читайте». Вот мы сидим и читаем. Один читает, а пятеро, конечно, не слушают. Подходит учительница: «Ну, что? О чем прочитали?» Кто-то что-то скажет, и она всем ставит оценки.

И когда мы приехали в Мелекесс, самое мое большое впечатление это была школа.

Ехали мы с Дальнего Востока 11 дней. Сначала – до Москвы, нас там встречал дядя. А потом уже сюда. Тогда поезд Москва–Мелекесс шел 1,5 суток. Прибыли мы 29 декабря 1934 года.

Приехали, Боже мой! У нас там были такие добротные дома, такие огороды. Мы там засаживали огород, и нам всего хватало на всю зиму. Большой сад возле дома (правда, из фруктов только мелкие яблочки и черемуха). А здесь... Какие-то избушки на курьих ножках. У нас там во дворе была построена баня, так она была лучше здешних домов. Мама, глядя на домишки в Мелекессе, долго плакала, а сестра ее успокаивала.

Мы все удивлялись – рядом с Москвой и такая глушь. Встают в четыре или в пять утра, топят русские печи, готовят в них. У нас там уже все готовили на плитах (сложенных из кирпича). Мама все не могла привыкнуть к ухвату.

Цены, конечно, отличались разительно. У нас на Дальнем Востоке мясо, допустим, стоило 30 рублей кило-

грамм, а здесь 3. И все продукты были намного дешевле.

А главное – мне понравилась школа. По сравнению с Дальним Востоком я попала здесь в какой-то рай науки. Преподаватели были – чудо! Такие они знания давали и так интересно строили свою работу! Работали еще со времен гимназии Павел Кузьмич Недоносков, математик, Валентина Ивановна Мохова, русский язык и литература, историк Елизавета Васильевна Катаева.

Павел Кузьмич Недоносков – это было что-то особенное. Как он преподавал! И какой он был внимательный. Тогда экзамены сдавали после каждого класса. После восьмого, в конце мая, меня затрепала малярия. Прямо замучала: день треплет, день – нет. А экзамен на носу. Я прихожу сдавать, а Павел Кузьмич знал, что я болею. И вот помню как сейчас – он мне из окна первого этажа стучит и знаками показывает: зайди. Я захожу в учительскую, он: «Зачем ты пришла? Тебя освободили от экзаменов, ты болеешь». Я не просила, ничего никому не говорила...

...И когда его в 37-м году забрали... Он был в свое время офицером царской армии. Пришли за ним прямо в школу, во время уроков. На перемене, на глазах у ребят выводили. Мы всё поняли, бежали за ними, со второго этажа, по лестницам. Бежим, плачем... «Отдайте Павла Кузьмича! Отдайте Павла Кузьмича!» А он так лицо закрыл и шел...

Взяли его у нас из девятого класса, в конце учебного года. После него приехал из Ульяновска молодой учитель математики Олег Владимирович Сергиевский, выпускник пединститута. Его, конечно, с Павлом Кузьмичем сравнивать нельзя, но он тоже был очень хороший. Он женился на дочери Павла Кузьмича Галине. Как только началась война, он ушел на фронт и сразу погиб (даже не воевал, эшелон

разбомбили по дороге). В школу тогда пришло извещение. Не знаю, были ли у них дети, Галина сейчас уже умерла...

...После фронта и после смерти Сталина я написала в городскую газету статью и там уже свободно рассказала, каким педагогом и человеком был Павел Кузьмич Недоносков, мой любимый учитель. И как с ним поступили. Пришла ко мне тогда его вдова и так благодарила... «Первый раз, Верочка, ты о нем написала...»

Его тогда немного подержали в тюрьме, а потом расстреляли. (Не успевали, видимо, всех сразу расстреливать).

И еще были два брата Бакаевы, учителя русского языка и литературы. Их тоже увели ни за что – тоже были офицерами царской армии. (А другой-то армии в России до революции не было!)

Был еще преподаватель черчения и рисования (не помню его фамилию). Тоже был арестован.

А историка Елизавету Васильевну Катаеву на первых выборах в 1938 году избрали депутатом Верховного Совета СССР. Здесь был тогда жуткий случай с убийством учительницы Прониной. Был Восьмой Чрезвычайный съезд Советов, она была делегатом этого съезда и членом Ревизионной комиссии по выработке Конституции СССР. И когда она из Москвы приехала и шла домой, ее по дороге убили. Убили свои ученики, но они не знали, что это она. Троим присудили расстрел, но не расстреляли, потом, через несколько лет, они сюда приезжали. Так вот, Катаева была народным заседателем на суде. И так она пошла по общественной линии и потом ее избрали депутатом.

Школа была очень хорошая. На уроках я сидела с удо-

вольствием. Мне хотелось учить, учить, все знать, объясняли на уроках прекрасно! В школе мы пропадали весь день, до 7-8 часов. И все удивлялись: когда учителя едят? Когда они спят? Они все время были с нами.

Но вообще, по сравнению с Зеей нам Мелекесс показался какой-то большой деревней. Настолько он был отсталый...

Были здесь вечорки (у нас такого понятия не было). Вот собирается компания (молодежи-то некуда было больше деться) и идут в определенный дом, где хозяйка пускает. Мы жили на квартире, где вечорки собирались часто.

Я тогда еще маленькая была, но что мне бросилось в глаза и запомнилось. Дочь хозяйки в спальне на веревках развесила все свои юбки, платья и блузы. И весь вечер переодевалась. А ее мать была Филимоновна. Я спрашиваю: «Зачем она это делает?» – «Женихов полно, пусть глядят, какое у нее добро».

И вот то и дело: «Катька, переодеваться». Та – раз-раз – и опять выходит, уже в другом наряде. Умора! Мне это было смешно и как-то дико. Видимо, там, где мы жили, люди все это давно прошли. Культура там была на порядок во всем выше.

По сравнению с Дальним Востоком здесь очень много пили. И потом – вот эта махровая сплошная неграмотность. Национализм. Здесь ненавидели евреев, причем, открыто об этом кричали. Мы-то там понятия не имели, кто какой национальности: китаец, кореец, еврей. А здесь было так. Я как первый раз это услышала, подумала: боже, что же это такое?!

И было страшное хулиганство. Воевал старый город с Горкой. Потом, правда, это все утряслось, успокоилось.

Тогда здесь была одна средняя школа (№ 1, сейчас это девятая школа). Из учебных заведений были культпросветучилище (готовили работников культуры: библиотек, клубов) и тракторная школа. Учительский институт открылся уже перед самой войной.

Вместе с семьей тети мы стояли на одной квартире. Потом дяде (он был старшим бухгалтером в сельскохозяйственной школе) дали служебное жилье, половину дома. Мы все перешли туда. Потом он работал в пригородном хозяйстве, тогда мы жили прямо при конторе.

В конечном итоге мама купила домик на улице III Интернационала – небольшой, старенький. Тетя работала в книжном магазине, мама домохозяйничала. Конечно, ничего хорошего она не видела. Всю семью надо было накормить, одеть, обстирать, убраться. Но общественницей она оставалась всегда – многие годы была председателем уличного комитета. Они (в основном это женщины и подростки) делали много всего полезного.

Один раз (уже война шла) я приехала на выходные из Куйбышева. Боже! Весь наш двор завален стегаными солдатскими штанами, телогрейками – все простреленные, в крови. Спрашиваю маму: «Что это такое?» – «А это нам привезли работу. Я должна разнести по домам, чтоб все это выстирали, починили и снова сдать в военкомат».

Возили они дрова для фабрики Клары Цеткин, для электростанции. Соберут несколько женщин, идут на делянку, там на салазки бревна грузят и везут в город.

За эту работу мама была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Их тогда около двадцати женщин в Мелекессе наградили.

В Москве жила тетя Фаина, старая мамина приятельница (еще по Дальнему Востоку). Жила одна, на Арбате у нее была прекрасная квартира (муж был много старше и умер). Очень интеллигентная, эрудированная женщина. В театре Моссовета она служила актрисой (не на главных ролях), голос у нее был очень хороший. Там как раз играла Любовь Орлова, тетя Фаина меня водила на эти спектакли, и я ее хорошо рассмотрела.

Тетя Фаина меня очень любила и каждое лето перед войной проглашала в гости. Так несколько лет (раза четыре) в старших классах я приезжала к ней в Москву. Возила меня по разным красивым местам, по театрам, по музеям. Вместе с компанией ее друзей выезжали в Серебряный Бор, на пляж, на речку, загорали, купались.

Там такая широкая аллея, очень красивая. И вот однажды идем мы всей компанией, а тетя схватила меня за руки и давай плясать что-то похожее на краковяк. И так всю аллею до конца проплясали. Вот такая она была заводная, интересная женщина.

У нее был сын Володя, он был женат, а потом развелся. И вот когда я последний раз просилась у мамы в Москву, она мне отказала: «Там к Фаине Вовка вернулся, тебе там делать нечего. Фаине надо, чтобы ты стала ее снохой. А я не хочу, чтоб ты за разведенного замуж выходила».

Школу я закончила в 1939 году. Думали, куда мне ехать поступать. Конечно, хотелось в Москву, но материально мама

бы это не потянула. Решили в Куйбышев. Учителя мне все советовали: «Верочка, иди в педагогический. У тебя яркие организаторские способности».

А я с шестого класса была вожатой. И на лыжах мы с ребятами в выходной день ходили, и на коньках катались. Летом они тоже не давали мне покоя. Как только встаю, мама говорит: «Вон твоя саранча пришла». Они уж ждут: «Верочка!» (Так они меня звали). – «Чего?» – «Мы седня пойдем купаться?» – «Пойдем». Вот так с ними возилась, я в девятом классе, а они в шестом.

Елизавета Васильевна Катаева мне говорила: «Конечно, в педагогический. Вон как вас хвалят на педсовете. Учитель говорит: «А я не знаю, что там у меня в классе, я и не касаюсь. Воспитывает у меня класс Верочка».

В общем, я их всех послушалась и пошла в педагогический. И не раскаиваюсь.

Мы были первым массовым выпуском средних школ по всей стране. И когда поступали в Куйбышевский пединститут, помню, на экзаменах преподаватели сидели и любовались нами. Им было приятно, что люди пришли со знаниями, крепкими знаниями. До сих пор им приходилось иметь дело то с рабфаковцами не очень грамотными, то с коммунистами-выдвиженцами. А здесь пришли мы.

Помню, я отвечала по химии. Принимал декан по фамилии Мазанка, кандидат наук. Он чуть не плясал около меня. А мне достался «Контактный способ получения серной кислоты». В школе на экзамене мне попался этот вопрос. Приехала в институт, вытаскиваю билет – опять он! Мне даже смешно стало. Ну и, конечно, я развернулась: схемы,

таблицы, процессы... Мазанка меня остановил: «Умница! Умница!»

А мое личное дело как-то машинально перебросили в дошкольный факультет. Я хожу на занятия на химбиофак, а получается, что числюсь на дошфаке. Подходит ко мне девушка из Мелекесса, говорит: «Вер, ты почему на занятия не ходишь?» – «Я хожу». – «Но ты же на дошкольном факультете числишься...» Я к декану, он меня за руку – к ректору (тогда он назывался директор). Говорит: «Да вы знаете, какой это химик!» А тогда было очень строго, какое количество учителей было заявлено, то и должны были выпустить. Так что много было борьбы, но все-таки декан меня отбил...

В 1940-м году, перед войной, в институтах отменили стипендии. Никто их не получал. У меня было положение критическое: мама не работает, с дяди мы не можем все время тянуть. И мы с девчонками стали собираться по домам.

Тут приезжает дядя, он тогда работал бухгалтером на «Гидрострое», началось строительство Куйбышевской ГЭС, и они часто приезжали в Куйбышев в командировку. (Приедут с друзьями, я соберу девчонок красивых моих, и они ведут нас в ресторан).

А тут он приезжает, мы все в трауре. «Что случилось?» – «Вот, стипендий у нас нет, мы уезжаем домой». – «Как домой? И ты что ли собралась?» Я оробела и отвечаю: «Да пока нет». – «Ну вот и не выдумывай! Будешь учиться!» Так что благодаря дяде, Михаилу Осиповичу Киселеву, я закончила институт. Он помогал, и я работала.

Я устроилась культмассовиком в кино. В перерывах между сеансами – пляшу, пою, развлекаю, игры провожу. Меня

признали хорошим организатором. Получала за это деньги, а парни мне говорили: «Мы на вас ходим смотреть, а не кино».

Потом еще брали работу – в Доме сельского хозяйства. Там были большие книги – сплошные таблицы и цифры – их нужно было от руки переписывать. Сидели ночами и переписывали, чтобы заработать.

В результате никто из наших по домам не уехал. Мы договорились так: устраиваемся все на работу. У кого пока работы нет, их будут содержать те, кто работает. Такая дружба была по комнатам – прелесть. У нас жила богатая девчонка – у нее отец сапожником в Пензе был. Так она все говорила: «Давайте возьмем к нам в комнату еще кого-нибудь».

А потом, на третьем, кажется, курсе, опять появились стипендии. Я стала получать Сталинскую – круглая отличница. Сталинская стипендия была 500 рублей, большие тогда деньги (обычная стипендия – 130). Маме я посылала 300 рублей, а себе оставляла 200. Для мамы это было, конечно, спасение. (Когда я с фронта пришла и стала разбирать бумаги в шкафу, нашла целую стопку квиточков от моих переводов – мама все сохранила).

Когда подали документы на Сталинскую стипендию, простую я получать перестала. Документы ходили около трех месяцев, и я вообще была без денег. Назанимала! Девки мои мне говорят: «Как получишь Сталинскую, – партер первый-второй ряд, выше не идем!» Очень мы любили театр, но сидели, в основном, на галерке.

И вот я получаю полторы тысячи – Сталинскую за три месяца. Деньги колоссальные! Посылаю маме тысячу,

раздаю долги. Маме пишу: «Купите дров и картошки на зиму».

А с девчонками мы пошли в оперетту. Сидим на втором ряду, нас пять человек. А за нами сидели «академики», ребята из военно-медицинской академии. (У них обычная стипендия была 500 рублей).

Надели мы, конечно, самое лучшее, подкрасили губы. А ресницы (туши-то не было) намазали мылом – они поинтереснее от этого смотрелись.

И вот на спектакле смешная сцена, мы расхохотались, стали тереть глаза, мыло туда попало... Глаза щиплет, слезы текут, мы лица руками закрыли... «Академики» ничего понять не могут: «Чего это вы?» А уходить неудобно (да и не выпустят). Ждем, когда будет перерыв. Дождались, глаза руками прикрыли и друг за другом – в туалет.

После спектакля «академики» говорят: «Девчонки, мы пойдем вас провожать?» – «Пошли». По дороге стали допытываться: «А чего это с вами случилось?» Мы рассказали. Ну, они хохотали! «Не будете «краситься»! Вы и так все красивые».

Когда финская война началась, сколько у нас из института лыжников взяли! Почти всех ребят. Вернулись единицы. У нас на четвертом этаже актовый зал был – громадный. И по всем стенам в два ряда повесили портреты погибших. Такие ребята! Много с исторического факультета, с физмата. Когда они уходили, никто особенно не переживал. Ну покатаются на лыжах и приедут. Да мы и Отечественную войну тоже не сразу поняли...

22 июня часов в пять утра вбежал к нам в комнату об-

щежития Саша Жигалин, секретарь комитета комсомола института. «Девчонки, война!» – «Что за война?»

Мы только под утро явились с банкета, в ресторане «Поплавок» (пароход стоял у пристани) праздновали окончание учебного года – закончили третий курс. Мальчишки-строители (строительный институт) весь день накануне разгружали в порту баржи, на банкет зарабатывали.

У нас и билеты были взяты на учебную практику – мы должны были плыть в Жигули. Так что до нас не сразу дошло, я даже сказала такую фразу: «Да ладно, девчонки, вернемся с каникул, всякая война кончится».

...Самое страшное, когда мы вышли на улицу, весь народ в Куйбышеве был уже там. Стояли у репродукторов – ждали, что скажет Москва. Прижавшись друг к другу, молча... Еще была какая-то надежда; может быть, это просто провокация, может быть, все еще обойдется. И когда Молотов сказал: «Да, началась война...» Это страшное дело. Все в магазинах тут же было сметено, все скуплено... Ужас.

Несколько дней нас «манежили», отправлять или не отправлять на практику. Потом все же отправили. Практика в Жигулевске состоялась, но сокращенная. Должна была быть месячная – по ботанике, по зоологии, а были мы там дней десять. Студенты-практиканты традиционно жили в здании начальной школы, на самом берегу Волги. Надо было собрать гербарий – какие растения у нас есть в средней полосе. Ловили бабочек, жуков. Оформляли их уже потом, в институте. Все получили зачет.

А я тогда уже курила – с голодухи. (Спросила мальчишек: «Вы курите, есть не хочется?» – «Нет, не хочется»). Ну вот, нас, из десяти девчонок на практике, человек пять курили. Те, кто не курили, нас выгоняли: фу, от вас пахнет, идите на

улицу! Мы уходили на Волгу. А там ветрище, только закуришь, раза два затянешься – и папироски нет. Так было обидно! (Я до сих пор всем разрешаю курить в комнате).

Когда война началась, нашу студенческую столовую ликвидировали, а нас прикрепили к столовой, где питались эвакуированные московские метростроевцы. У нас были талоны и нам каждый день из них вырезали: хлеба столько-то, крупы столько-то, мяса столько-то...

Мы приходили туда пораньше и сидели подольше, потому что там было тепло, а общежитие у нас не отапливалось, холод собачий. Займем мы столик, свои лекции откроем и сидим, учим. Официантки нас уже знали, спрашивают: «Ну что, вам носить чего?» – «Да нет, погодите, мы еще позанимаемся». – «Ну, ладно». Хорошо они к нам относились.

В 1942-м, осенью, посылали нас на уборку урожая – колоски после комбайнов собирать. Я на высоких каблуках, потому что переодеться не во что. Сверху туфель надевала галоши. А у меня еще с детства ревматизм. И вот я на каблуках уже не могу – на коленках ползаю, они у меня все распухли.

Жили в домах у колхозников. Нас 5 человек в одну избу поселили, мы все на печке спали. Придешь, усталый, замерзший, тебе ни до чего, сразу лезешь на печку. А село было мордовское. У них в сенях бочка стояла, куда они с осени сливали молоко. И вот оно кисло там, а они его кусками резали, разбавляли водой и пили. Не знаю, как это кушание называлось. Нас они немножко кормили...

А у моей подруги родители жили в деревне. Она мне как-то ближе к зиме говорит: «Поехали, Вера, к маме с папой». Я говорю: «Поехали». Приехали, а там!.. В печке, в глиняной миске молоко топленое. Каша, пироги. Для нас они гуся закололи... Мы как нажрались... Ой, что со мной было. Расстройство желудка.... И понос, и рвота. Там ведь и жирное все, и много. Это после трехсот-то граммов хлеба у нас в Куйбышеве. (Она-то ничего, с детства к такой пище привычная, да она и приезжала часто к родителям, и с собой в общежитие привозила. Нас не угощала, девка была прижимистая).

Неделю мы там прожили – мне нельзя было ехать, все время было плохо. Потом нас отправили на попутной полуторке. Так еще неделю институтский врач не допускал меня на занятия – боялись, что это дизентерия.

Мы еще из института хотели уйти на фронт. Притащились все в военкомат. А военком при нас давай звонить. Мы думаем, куда? Оказывается нашему ректору. «У тебя что, институт закрывается?» Тот не понял: «А в чем дело?» – «Да все твои здесь, на фронт просятся».

В общем, нас выгнали. Потом мне еще и аспирантуру предлагать стали. Я отказалась. Я по натуре не ученый, мне ближе действие какое-то, спорт, танцы. А потом, сейчас война – какая аспирантура?

С третьего курса института ушла на фронт моя подруга секретарь комитета комсомола Таня Говоряко. Как-то под вечер она сказала: «Собери всех наших, пойдем сфотогра-

фируемся на память». – «А чего это вдруг?» – «Меня в армию берут». Пошли в ателье, сфотографировались.

Параллельно со мной – на истфаке – училась дочь Щорса, Валентина Щорс. В 41-м, когда правительство эвакуировали в Куйбышев, она перевелась в наш институт. Потом из Ленинграда привезли блокадных детей, Валя взяла двоих. Как-то выхожу из института, она стоит в валенках, в стеганых штанах, в телогрейке. Спрашиваю: «Валька, ты куда собралась?» – «Все, Вера, я учиться бросаю, иду на Безымянку, строить авиационный завод». Я говорю: «А ты чего можешь-то?» – «Ну, таскать-то я могу». – «А зачем ты это?» – «Я взяла двух детей на воспитание. Пока мама у меня еще на ногах, они немножечко подрастут». – «А учиться?» – «Сейчас некогда. Война кончится, буду учиться». Больше я ничего о ней не слышала.

А Таня Говоряко служила у Марины Расковой в полку «ночных ведьм», летали на таких фанерных самолетиках, ночных бомбардировщиках, немцы их страшно боялись. Танин самолет подбили, и она сгорела заживо.

В 1942 году вместе с отцом ушла из Мелекесса на фронт моя школьная подруга Тося Потапова. Мы жили по соседству, мать у нее крепко выпивала, и Тося много времени проводила у нас. Моя мама ее очень любила, она была у нее как вторая дочь. Мы вместе в комсомол вступали. Тося редактировала школьную стенгазету.

Вместе поехали в Куйбышев, я поступила в педагогический, Тося – в индустриальный. Но проучилась она только полгода, сильно заболела, что-то с легкими, наверное, туберкулез. Вернулась Тося в Мелекесс и поступила на физ-

мат в учительский институт (математик она была непревзойденный!).

На фронт ушла с 58-й гвардейской стрелковой дивизией в звании лейтенанта. У нас на квартире стоял офицер дивизии (тоже лейтенант) и, помню, на прощальной вечеринке моя мама его просила: «Пожалуйста, сохраните Тосю».

...Их штабная группа двигалась возле села Новая Ивановка под Харьковом. Была машина «Виллис» и несколько подвод. Всего человек 30, три девушки, остальные парни. И вдруг – из оврага немецкие танки. Завязался скоротечный, неравный бой. Всех наших убили.

Остались Тося как раз с тем самым лейтенантом. Отстреливались. А там местность такая, что не спрячешься, жидкие кустики. Этого парня смертельно ранили. Когда немцы вытащили их из кустов, лейтенанта бросили, он истекал кровью. А Тосю изнасиловали, выкололи ей глаза, отрезали груди, нос, во всю спину вырезали пятиконечную звезду. Женщина, которая мне все это рассказывала, сказала, что это был самый истерзанный труп.

Немцы заставили местных жителей хоронить убитых. Мы, говорит, их хорошо похоронили. Выкопали яму, постелили сена. Девочек положили в середину, потом ребят. И укрыли всех шинелями.

Когда они спустились в могилу, чтоб их укрыть, женщина нащупала в кармане у Тоси какой-то жесткий предмет. Она попросила, чтоб ее загородили от часового. Ее загородили, и она достала солдатский медальон. Там адрес: Мелекесс, улица Луговая.

...В 1965-м, на 20-летие Победы пригласили Тосину мать и меня. Тогда ту братскую могилу вскрыли, останки перенесли в центр села. Мы приехали. Председатель колхоза нас сразу

предупредил: «Без моего разрешения – никуда! Здесь столько еще всяких полицаев и столько дряни! Вы пропадете и никто знать не будет, где вы и что. А я, ведь, отвечаю за вас». Поселили нас к «надежным людям». Спрашивают: «Чем же вас кормить?» Я говорю: «Знаете, что я хочу? От настоящей коровы молока!» Ой, как он хохотал! А что, говорит, есть еще ненастоящие коровы? Я говорю: «Есть-есть. Порошок разведенный. Да мне немножко – попить». Смотрю, ведро молока тащат! Батюшки мои, да куда же это?

Пробыли мы там дней пять. Столько подарков колхоз сделал Тосиной матери! Кофточку теплую, теплое белье, еще одежду, обувь, сушеные фрукты – всего 17 мест! Я говорю: «Я что – носильщик?!» – «Ты – девка здоровая».

Привезла я оттуда землю. Спустили мы ее в котлован, когда закладывали наш памятник «Родина–Мать». Там меня пригласили в начальную школу, я смотрю: «Музей Тоси Потаповой». Открываю дверь, батюшки, я в Мелекессе! Столько у них собрано фотографий, писем! Такая у них была переписка со школой, где мы учились! Господи, там и про меня есть!

У нас же в это время о Тосе ничего не было. А я уже работала зампредседателя в горисполкоме. Меня такое зло взяло. На первом же заседании говорю: «Вот так, товарищи, Тося уходила на фронт с улицы Луговой, мы эту улицу переименовываем в улицу Тоси Потаповой». Председатель с иронией спрашивает: «Вы так уже решили?» А я в запале отвечаю: «Да, я так решила!..»

Улицу переименовали. Потом именем Тоси Потаповой назвали пионерскую дружину школы № 16.

В 1942 году военкомат запросил десять человек студентов-химиков – военпредами на химические заводы. Как я туда просилась! Не пустили. Набрали тех, кто плохо учился и мог не сдать госэкзамены. Нарисовали им троечки, выдали дипломы и отправили. Ой, какие они ходили перед отправкой! Лейтенантская форма, морская кокарда. Мы им завидовали...

Выпустили нас на год раньше срока. Занятия уплотняли, у нас было всегда по четыре пары и все лето 42-го года мы занимались. Дипломы нам выдавали в конце августа. Во время распределения член госкомиссии отозвал меня в сторонку (я была комсоргом факультета) и говорит: «Нам надо семь хороших девушек на преподавательскую работу в освобожденные районы Белоруссии. Только по желанию». Я подошла к своим: «Девчонки, так и так...» Они: «О, все готовы!»

Нас отобрали в группу, но Белоруссия к тому времени еще не была освобождена. В августе, уже из Мелекесса, мы звонили в институт. Ректор нам сказал: «Работайте пока там, где живете. Мы ваши адреса знаем, в случае чего, мы вас вызовем». Но поработать в школах Белоруссии нам так и не пришлось.

После окончания института осенью 1942 года я вернулась в Мелекесс и устроилась учителем в татарскую среднюю школу и школу № 4 (сейчас это школа № 10). Беготни много, вела химию и биологию (тогда преподавался еще и «Дарвинизм»).

В декабре 42-го (в самом конце полугодия) прихожу на урок в десятый класс, смотрю, что такое? Ни одного мальчишки. Мне как-то так обидно стало, вроде хорошо с ними жили, как товарищи, на лесозаготовки вместе ездили... Но почему они убежали с урока? Дежурная девочка встает и говорит: « Ребят берут в армию, они все в военкомате».

Я, знаете, как посмотрела на эти пустые парты... Голодные, сопливые мальчишки, в чем душонка держится – и на фронт. А я, такая девка здоровая, мне уже 21 год, и я в тылу еще торчу.

Провела все уроки, написала заявление и – в военкомат. Мальчишки меня увидели, напугались, подумали, что я за ними. «Вера Ивановна! Вера Ивановна!» А я прямым ходом к военкому. Он прочел заявление. «С высшим образованием? У нас постановление правительства и специальный приказ – учителей с высшим образованием на фронт не брать. У вас бронь». – «Да не нужна мне бронь! Я все равно убегу!»

А я в институте ходила в стрелковый клуб, пулеметами ДШК и «Максим» владела, винтовкой, и на стрельбище ездили, мне это было интересно. У нас там была хорошая военная кафедра, мы даже в военном городском параде участвовали 7 ноября 41-го года (муштровали нас день и ночь).

Говорю военкому: «Я медсестра запаса. Я знаю Устав Красной Армии». Он улыбнулся: «Ну, совсем готовый солдат. Ладно, делаю преступление. Завтра отправка». Я говорю: «Есть!»

Вылетаю из кабинета, мальчишки все ко мне: «Вера Ивановна! Вера Ивановна!» Я говорю: «Ребята, никакой Веры Ивановны больше нет. Есть рядовая Соловьева».

Всей гурьбой меня до дома проводили (тут недалеко).

CABINET PORTRAIT

Папа со своей первой женой.

Мама.



Вся наша семья. У папы на руках Шурик.

Наш октябрятский отряд. Март 1930 года.



Мы - пионеры. 1933 год.



Февраль 1934 года. Мама – среди делегаток.



Десятиклассники. В белой блузе – Тося Потапова.

Наш 10 “С”. 28 июня 1939 года.



Студентка.

С секретарем комитета комсомола
Сашей Жигалиным.



Наша учебная группа.



Со студенческой подругой Лидой Волковой.



11 февраля 1941 года. Дядя приехал в гости.

Девчата из комнаты 41.

С Валей Пустоваловой нарядились в форму "академиков". Март 1941 года.





Ноябрь 1941 года. Таня Говоряко (в центре) уходит на фронт.
Крайняя справа (стоит) Валентина Щорс.

Пока шли, маме кто-то уже наболтал. Я прихожу, у нее плохо с сердцем, она в лежку лежит, потому что брат у меня ушел в декабре 41-го (из десятого класса, они семь человек убежали), и вот теперь я ухожу...

Мама ничем не могла мне помочь, все время лежала, собираться помогали соседи.

Уезжала я как солдат. Потому что все, в чем уезжал Шурка, он прислал обратно. У меня был вещмешок и небольшой чемоданчик. Туда я положила нижнее белье, кое какие фотографии. Надела теплую мамину шерстяную кофточку, безрукавку, шубняк, стеганые штаны (все это я потом обратно отправила).

С вокзала уезжали в два часа ночи. Господи, темнота! Перекличка. Того ищут, другого ищут. Меня провожали мой одноклассник Толя Тарасов (он уже пришел с войны тяжело раненый) и мама.

Как нас впялили всех битком в один вагон! (Правда, вагон был не телячий, а пассажирский). Меня втолкали, мама, конечно, заплакала, не знаю уж, в каком состоянии она была, как ее Толька дотащил.

А накануне Толин отец (он был инвалид и хороший портной) говорит ему: «Позови Веру к нам». Я пришла, они наварили картошки, посадили за стол. Они знали, что я осталась без папы в раннем возрасте, и Толин отец говорит: «Я буду тебя провожать вместо отца».

Что он сказал... «Воюй хорошо, раз уж пошла. Но только теперь мать одна будет, бросаешь мать». Они с Толькой выпили, я тогда совсем не пила. Меня все это очень тронуло.

Из Мелекесса нас уезжало двое. Я и Шура Голованова,

учительница, я ее встретила в военкомате. Расположились мы в вагоне, думали далеко ехать. А нас в Ульяновске разгружают. Эх, и стоило мне стараться? Я надеялась, нас сразу на фронт повезут.

Выгрузили, загнали в какой-то клуб рядом с вокзалом. А там столько этих призывников! Все желают на фронт. Пришел какой-то «покупатель». «Давай девчонок мне в зенитную артиллерию, у меня парней забирают под Сталинград».

Первую ночь ночевала на батарее «МЗА» (малая зенитная), это в районе центрального рынка. Господи, что это были за землянки! При входе глину сапогами месят, внутри прямо на земле – какая-то солома или сено. Я думаю: что это за стог такой? А он как весь зашевелился! Там девки спали! И буржуйка топилась.

В первый вечер пошли мы на вокзал за вещами (там специально было устроено дежурство, я оставляла там свой вещмешок и чемоданчик), возвращаемся, смотрим в дверь землянки, а оттуда такой голубой дымок... Кто-то закрыл трубу и дверь была закрыта. Они все отравились угарным газом. Батюшки! Подняли крик, шум. «Скорую помощь» городскую вызвали, нашу медсанчасть... Выносят их, кто в сознании, кто уже без сознания. А мы стоим тут в своих валенках, в глине топчемся.

Увезли их всех в больницу, а мы в этой землянке ночевали. На другой день меня взяли на вторую батарею. А Шуру – на третью.

Мне предстояло служить в части, которая официально именовалась так: 174-й отдельный зенитно-артиллерийс-

кий дивизион противовоздушной обороны (резерв главного командования РККА). До войны дивизион стоял в Бобруйске, в Белоруссии. И утром 22 июня они уже били по немецким самолетам. Тогда в дивизионе служили кадровые военные. И потом они отступали до Москвы.

Как это было тяжело... Ребята нам потом рассказывали. Когда из деревни уходим, а наши люди там остаются. Плачут: «Вы что нас бросаете? Куда вы?»

Под Москвой дивизион был разбит вдребезги. Осталось знамя и кое-какой личный состав. Поэтому командование решило воинскую часть сохранить, но провести переформирование. Оставшихся кадровиков отправили под Сталинград (видимо, там они все погибли, по крайней мере найти нам после войны никого не удалось). В дивизионе оставили командиров орудий и отделений и привезли их в Ульяновск.

Временно их разместили в кинотеатре «Пионер» (на улице Карла Маркса). Мне потом Шармай, мой командир, начальник группы стереоскопистов, рассказывал: «Эх, Соловьева, кино мы тогда насмотрелись! Спим-спим, глаза откроем – кино идет. Какое – неизвестно. Погляжу – опять усну». Отсыпались они, конечно...

Стал дивизион пополняться парнями и девушками из Пензенской, Куйбышевской и только что созданной Ульяновской областей. Девчата были, в основном, из 10-х классов, с ними было полегче. А мальчишки малограмотные.

Все гражданское с нас содрали, а одеть-то не во что! Привели в баню, помылись и выдали нам... Никогда мне не было так противно, как тогда. Пришлось надевать это белье –

бывшее в употреблении, застиранное даже с кровяными пятнами. Мужские кальсоны (их неизвестно как застегивать, мы их веревочками подвязывали), нательные рубахи... У кого кальсоны длинные – их подрезали, нам потом за это досталось: «Кто-то после вас еще их будет носить».

Постригли нас коротко, у меня только хохолок впереди торчал. Не узнаем друг друга. Я кричу: «Маша! Маша!» (Это новая подруга моя). А она из-под меня, с нижнего яруса: «Чего ты орешь? Вот она я». Я ее не узнала.

Выдали нам неизвестно какого размера стеганые штаны, телогрейки, шинели, сапоги, ботинки с обмотками – кому что досталось. Когда надели все это и посмотрели друг на друга, пришли в ужас.

Женских трусов не было, бюстгальтеров не было. Шефы с трикотажной фабрики (она из Витебска эвакуировалась в Ульяновск) пошили и принесли нам в подарок рейтузы, бюстгальтеры и простые чулки. (А то нам выдали по одной паре шерстяных чулок на год. Они плотные, теплые, в них зимой хорошо. А летом?).

Разбирали – кому что досталось. Я ни в один бюстгальтер не вошла, у меня бюст всегда был огромный. В общем, комедия.

Я носила обувь 35 размера. А мне достались английские («черчиллевские») ботинки 42-го размера и вот с таким носом и с обмотками. Сапоги вообще редко кому достались.

Весной нам выдали юбки – тоже ничего хорошего. Они узкие, наденешь на рейтузы – туго, а расставить нельзя – карманы прорезные. Ну, и что делать? Задираешь юбку и лазишь через снарядные ящики!

Шинель мне дали огромную. Я вот так запахнулась – чуть не в два раза. Шинель, правда, была тонкого английского сукна, коричневого цвета.

А при штабе у нас была швейная мастерская – маленькая комнатка. Портным там работал отец нашего командира дивизиона Дорожкина. Хороший старичок. Меня с письмом прислали в штаб, он меня увидел, смотрит из-под очков и пальцем манит.

Подошла. «Сними шинель». Сняла. Он меня общупал всю. Думаю: «Чо он меня лапает?» Смерил талию, бюст, бедра. Потом говорит: «Давай я тебе переделаю шинель». Я говорю: «У меня денег нету». – «Я знаю, откуда у тебя деньги. Я тебе бесплатно. Ты будешь во! Ты посмотри, на кого ты сейчас похожа!» Я говорю: «Знаю, чучело для огорода». – «Правильно. А я из тебя сделаю картинку».

И вот он мне сделал... Когда я пришла, он мне с трудом застегивал шинель на груди. Я вздохнуть даже не могла. А талию сделал – часть ремня даже пришлось обрезать. И говорит мне: «Никому не давай ее надевать. Чтоб она растянулась только по тебе. Она растянется».

Ну, ладно. Я в этой новой шинели являюсь на батарею (телогрейка в руках, я к нему шла в телогрейке). Батарея построена. Проверка. «Разрешите встать в строй». – «Вставайте».

Командир ходит, осматривает всех. «Соловьева, три шага вперед». – «Есть». Выхожу из строя. Он так посмотрел: «Да, красиво. Но будем надеяться, что шинель сшита на горячих нитках. Она у нас не замерзнет». Наши-то все под шинели надели телогрейки! А у меня какая телогрейка?! Шинель еле застегнулась. А она – на одной легкой подкладке! Ох я в ней и померзла!

Высшее образование из девушек было у двоих: у врача и у меня. Меня присмотрел командир второй батареи Ющенко, по довоенной специальности учитель физики. Попросил меня к себе. Я прихожу: день сижу, второй сижу. Думаю: «Да что за черт? Время теряю, чего я сижу?» А меня никто в расчет не берет. Потому что все зенитчики говорят: «Ну, мне профессора не надо». Они думали, что со мной они как-то не справятся. Глупость, конечно.

Потом я узнаю: им нужен стереоскопист. Есть такой прибор – стереодальномер, он самый первый ловит цель. Надо поймать самолет, вести его, определить его скорость и высоту. Такое зрение, чтоб пользоваться этим прибором, есть не у каждого. (А у меня навыки такие были, ведь я много работала с микроскопом).

Комбат говорит: «Пойдемте, я вас проверю». Подходим к прибору. Я смотрю, вижу шкалу высоты, вижу крест, в который нужно поймать цель. Он мне дает задание, я читаю, он мне новые вводные, я выполняю... Наконец он говорит: «Пойдете стереоскопистом».

Позднее я узнала технологию ведения боя. После того как стереоскопист ловит цель и определяет высоту, в дело вступает расчет управления зенитным огнем. Там сидят одиннадцать девчонок, которые выдают все параметры предстоящей стрельбы: угол возвышения, азимут, высоту цели в момент попадания снаряда. Специальный человек ставит на взрывателе снаряда ту высоту, на которой он достигнет цели, чтобы именно там он и взорвался.

И вот когда весь дивизион хорошо стреляет, когда сразу 12 снарядов рвутся на одной высоте и в определенном квадрате (это называется заградогонь)... Попал самолет в любой такой квадрат, наверняка будет поражен.

Так я осталась в этом отделении. Командиром был Шармай, хороший парень, его потом под Сталинградом пополам снарядом разорвало. Я ему говорю: «Слушай, сержант, ну дай мне книжку, чтоб прибор изучить». – «Каку тебе книжку?» – «Ну, инструкцию, где описан весь этот стереодальномер». – «Да какую инструкцию? Отстань! Я тебе рассказал и действуй». – «Дай книжку!»

До того я ему надоела... Потом смотрю, командир огневого взвода приносит инструкцию: устройство прибора, его работа. Ну, а я же грамотный человек: давай сама читать, разбираться. Шармай на меня глядит. Я говорю: «Чего ты глядишь? Тебе не надо здесь ничего. Иди, дави ухо!» (Так у нас говорили: «Пошел ухо давить»). – «Ну ладно, я пошел, Соловьева». – «Иди».

Дивизион располагался в центре города. Первая батарея стояла на площади, за памятником Ленину (там было нарыто 15-16 землянок). Наша, вторая – где училище связи и школа собаководства. Третья батарея – на Волге, на Бесстыжем острове, он сейчас затоплен. Пулеметная рота стояла на крыше обкома партии на улице Энгельса (там сейчас технический университет). Еще были техчасть и медсанбат. Прожекторной роты уже не было. Батарея «МЗА» стояла в районе центрального рынка. Всего в дивизионе служило около тысячи человек.

Батарея «МЗА» (мелкозенитная артиллерия) имела четыре 37-мм пушки. Стреляли они очередью из обоймы. (В фильме «А зори здесь тихие» девчонки из таких стреляли). Поражаемость у этой пушки хорошая. У нас такой батареи сначала не было, ее дивизион потерял в боях, когда

отступал до Москвы. Но мы сразу провели собрание, все отказались от своей месячной зарплаты. (У солдат – ерунда, 10 рублей было. У офицеров, конечно, больше). И перечислили это в фонд, чтоб нам купить батарею «МЗА». Сталин нам прислал за это «Благодарность». Вскоре нам поступили новые пушки. А в Ульяновске батарею укомплектовали девушками. И она была почти готова к бою.

Распорядок дня был такой. Подъем, физзарядка на улице. Уборка помещений (землянок). Завтрак в столовой. (Если батарея в боевой готовности – пищу приносят прямо к орудиям и к приборам).

После завтрака пушки приводим в порядок – «лижем, целуем, гладим». А потом тренировка, тренировка, тренировка. Потому что очень боялись за мост. Это была связь с Уралом.

Поужинали, строимся на вечернюю поверку. Перекличка – все ли на месте. В 10 отбой. Если разрешают, раздеваемся. И только голова до подушки – уже спишь. Уставали страшно. А то еще тревога раза два за ночь – вот тебе и утро.

Боевое дежурство несли по очереди. Вот сегодня заступает первая батарея. Все сидят рядом с пушками и приборами в состоянии готовности номер один. Вторая и третья батареи в это время живут и работают по обычному расписанию: тренируются, учат, едят. А мы сдаем суточное дежурство и идем спать. (Очень тяжело целые сутки в жару и в холод, в снег и дождь сидеть у пушки или на железе у приборов). А если боевая тревога, то поднимаются и вступают в дело все подразделения независимо от того, кто сегодня дежурит.

Если стрелял – чисть пушку. Шомпол – холера такая –

не знаю сколько метров, несколько человек хватались за него (конец тряпками обмотан) – в ствол и пошел! Туда-сюда – пока блестеть не будет.

Господи! Да на эту пушку поначалу страшно было глядеть. Махина – четыре с половиной тонны. А когда она еще в брезенте... Ветер этот брезент хлещет. Выйдешь из землянки – дрожь пробивает...

В землянке был дежурный-дневальный (дежурили ночью по часу). Вокруг буржуйки сушились валенки. Испарение от них, вонища! Дежурный открывает на время дверь, проветривает. А главное – следит, чтоб валенки не подгорели. (У меня сроду подошва была прожжена. Натолкаешь туда газету «Правда» и пошел).

Дрессировали нас насчет отбоя и подъема... Тыщу раз тебя заставят раздеться, одеться, раздеться, одеться, чтоб натренировать. В одну ночь нас подняли по тревоге. Мы ни чулки не успели надеть, ни портянки. Думаем сойдет, дальше пушек не погонят. А они устроили марш-бросок на пять километров. Ноги стерли до того, что в сапогах кровь булькала.

Вернулись, нас построили, команда: «Снять сапоги». Мы сапоги снимаем, у нас все в крови. Дали нам всем по наряду. «Почему не по форме? Вы что с собой сделали?»

Отправили к санинструктору, она нам ноги обработала. А командиры говорят: «Будете теперь по форме одеваться».

Однажды, часу в 12-м ночи, послали меня в штаб с пакетом. Слышу, в парке Свердлова (*ныне – Владимирский сад – Г.Д.*) музыка, веселье, смех. Остановилась у изгороди, голову в решетку уткнула. Пары в танце кружатся. Господи, люди еще оказывается и танцуют! А я думала, что во время войны все живут так, как мы...

С нашими женскими делами вообще была беда. Стоит девчонка на посту, у нее период менструации. Сколько было случаев: стоит – бах, упала. Командир караульной службы приходит – часового нет. А она валяется, с ней обморок.

Тогда у нас появился приказ: девушек во время менструации на посты не ставить. А она стоит: на ней полушубок, штаны стеганые, телогрейка, шапка. Господи! Ее толкни, она сама упадет.

Стоят девчонки и только кричат: «Стой, кто идет?! Стой, кто идет?!» Боятся! Темно, ветер. Брезент у пушек хлопает. Кажется им бог весть что...

Когда этот приказ издали, я как комсорг батареи девчонок с ним знакомила. Собрала их, говорю, а они: «Ни в коем случае! Это стыд такой, на батарее будут знать – меня не поставили в караул потому что у меня менструация!» – «Но это же приказ!» – «Не будем выполнять этот приказ!»

Так он у нас и не очень действовал. Потом уж мне командиры сказали: давайте вы сами. Если кто плохо себя чувствует, попроситесь, вас от караула освободят.

Вообще-то тяжело было. От одного этого можно было взбеситься. Ну ничего же не давали: ни ваты, ни тряпок, ни марли – ничего. Ну как выходить из положения? Сколько переживаний! Ну еще зимой – стеганые штаны (вечно все в крови). А летом-то? Просидишь пятно и все – иди, стирай. А где?

Вот привезут ветошь пушки чистить, это старые гимнастерки, кальсоны, нательные рубахи в кровяных пятнах, грязные. Мы утащим, что поприличней, и начинаем эти тряпки кипятить.

А что значит вовремя не подмыться? Зимой проще, берешь снег, девчонки вот так окружат тебя или в туалет зай-

дешь – и снегом. Пока натираешься снегом, – там горит все – у тебя эта затычка замерзла. Ты ее вставляешь, она ледяная, пока она там согреется…

Так вот наши старослужащие видели все это и говорили: «Эх, девчонки-девчонки, никто-то из вас матерями не будет… Какая это будущая мать… Вы как лошади – снаряды таскаете, пушки тянете. Вам и подмыться-то нечем». (Они не стеснялись, говорили как есть).

Я сама всегда тяжело переносила этот период. У меня такие были боли… Первые сутки у меня все тело мурашками, меня рвет, у меня судороги. Длилось это пять дней и мне надо было хотя бы сутки, чтобы отлежаться. В низ живота надо было тепло прикладывать. Дома-то я все грелку ставила, до пузырей себе кожу сжигала. А там как? Не знаю почему, но нам даже анальгин не давали (хотя тогда уже был анальгин).

Один раз в неположенное время я вошла в землянку и прямо так на постель легла – не могу. Старшина меня увидел, вошел, перепугался. «Ты чего, родить хочешь?» Я говорю: «Щас рожу». – «Пошли в коптерку».

Пришли в его землянку, он мне наливает спирт. Ох! Я и водку-то никогда не пила, а тут спирт. «Нет-нет-нет, не могу». – «Выпей, дурочка, лучше будет. Сразу согреешься». А меня вот так колотит.

Он мне разбавил. Я два глотка выпила. Первый раз. Говорю ему: «Старшина, веди меня в землянку по траншеям. Наверх не вытаскивай». И он меня повел. Приводит и говорит: «Ложись. И кто спросит, чего лежишь, скажи, я разрешил».

Я легла, такое блаженство! Спирт пошел по крови, мне так тепло, даже жарко. И как из меня полило! Господи, помилуй! Мне опять заткнуться нечем!

А мальчишки, как дело до чистки пушки доходит, кричат: «Опять эти девки растащили все на затычки!» Я пошла к комбату. Говорю: «Товарищ старший лейтенант, ну что это такое?! Ну, мы виноваты, что ли? Вы думаете нам приятно эти тряпки с кровяными пятнами брать? Вы нам дайте что-нибудь и мы их трогать не будем!» Он с мальчишками отдельно провел потом беседу, чтоб прекратили эти разговоры.

Разговоры прекратили, но нам от этого легче не стало. И так до последнего нам ничего не давали. Ни-че-го.

Как-то, уже в Освенциме, в апреле 45-го, приехала я на третью батарею. Спускаюсь в землянку – какие-то тюки стоят. Вошла, девчонки докладывают, у них занятие идет. Я говорю: «А это что у вас там?» – «Ой, щас мы расскажем тебе, Вера... Мы тебе дадим...»

И рассказывают: «Это вата, очень хорошая. Она такими лентами, блестящая. Мы ее подкладываем. Так хорошо, ее так много». Я как взглянула... Это стекловата. «Вы чего делаете?!»

А мне врач до этого сказала: «Ты знаешь, чего-то неладное у наших девчонок. Пошли гнойные заболевания... Давай, както надо причину искать». И вот эту причину я и нашла. Как напустилась на них! «Вы что делаете? Это же техническая вата, стекло! Вот воткнулось стеклышко в слизистую и гнойник сразу. Сейчас же все выбрасывайте!» Не дают!

Я пошла к комбату. Так и так, заставьте ребят и пусть они эту вату так уберут, чтоб девчонки больше не достали. При мне пришли мальчишки, погрузили эти тюки на машину и куда-то отвезли.

Вовремя мы их прикусили, а то девчонки с другими батареями уже поделились, где можно это добро взять. Потом еще санинструкторы на каждой батарее разъяснительные беседы проводили. Не от хорошей жизни, конечно, все это.

Один раз во время боевого дежурства в плохую погоду девчата все простыли. Комбат за ужином велел всем налить по 100 грамм водки. А девчонки многие ее вообще никогда не пили. Я говорю: «Товарищ старший лейтенант, опьянеют девчата, мы их потом «не соберем». – «Всем пить, это приказ».

Ну, выпили, вернулись в землянку. Что потом с ними было?! Кто плачет, кто смеется, кто танцевать хочет... Я позвала комбата: «Посмотрите, что вы наделали». – «Ничего, зато завтра они поправятся».

И ведь поправились.

Боевое крещение мы приняли в Ульяновске, когда прилетел немецкий самолет-разведчик «Хенкель-111». Мы всего месяц прослужили, к тому же в тылу. И вдруг – вражеский самолет.

Боевая тревога. Командир огневого взвода Карманный кричит: «Дальномер, высоту! Дальномер, высоту!» А я бежала по тревоге, споткнулась, упала и копчиком села на угол металлического ящика, куда укладывается наш прибор. Боль была такая, что я даже не поняла, теряла я на несколько секунд сознание или нет. Слезы покатились градом, я вздохнуть не могу... Смотрю в прибор, от слез ничего не вижу... А Карманный как врезал: «Е... твою мать! Х... вы, а не стереоскописты!»

Подбежал Шармай, оттолкнул меня, давай сам высоту читать... Короче, пропустили мы самолет. Он прошел над мостом два круга, то, что ему надо было сделать, сделал и улетел. И мы открыли огонь уже по хвостовому оперению. Это херня, а не стрельба.

Мы подчинялись тогда Куйбышевскому дивройону. Приехало начальство на «виллисах», боже ты мой! Собрали всех, всю ночь шел разбор стрельб. Нас – в хвост и в гриву!

Был у нас там Тарасюк – ха-роший замкомандира дивизиона по строевой. Он: «Ну что вы от них хотите?! Они только что пришли с гражданки, они еще не обстрелянные». Его не поддержали и даже обвинили в мягкотелости: «Это война, нечего время тянуть...» В общем, нам втыков надавали.

А меня с моей травмой послали в госпиталь. Там как раз пришел эшелон с ранеными. Одна сплошная кровь и гной. Без рук, без ног... Выскочил какой-то молодой врач: «Ты чо здесь стоишь?» А у меня слезы градом: «Упала, ушиблась». – «Ушиблась, ничего. Долго будет заживать. Давай-давай, не гляди здесь... Давай, иди».

Как я мучилась потом! Лечь нельзя, а нужен покой. Физзарядка – беги. Снаряды таскать – таскай. Стрелять – стреляй. Все, как обычно.

(В 2009 году на УЗИ определили, что два позвонка у меня были разбиты вдребезги – четвертый и пятый. Врач вышел с результатами и говорит: «У вас тут сильная травма. Даже непонятно, как все срослось. Но старая». Я говорю: «Я знаю, это 43-й год»).

Карманному потом было очень стыдно. Я ему нравилась, он все ходил, вздыхал. Он даже извиняться потом прихо-

дил, здоровый парень такой, хохол. «Ну чо, Соловьева... Видишь как бывает... Пропустили...» Умер Карманный сразу после войны.

После этого поступил приказ: «День и ночь заниматься». День и ночь! И мы день и ночь занимались. Самолеты учили: французские, американские, немецкие, свои. Надо было все запомнить по картинке – какой фюзеляж, какое хвостовое оперение, какой экипаж, какая бомбовая нагрузка, скорость полета самолета, высота полета. Все эти данные надо было держать в голове, все это мы учили. Кто-нибудь встанет с картинкой, перелистывает одну, вторую, десятую, а я смотрю в прибор и определяю, какой это самолет, и говорю все его данные.

Потом прошла проверка боевой и политической подготовки. И по итогам этой проверки меня наградили знаком «Артиллерист – отличник противовоздушной обороны».

Наблюдательные посты (НП) были разбросаны за 25 километров от орудий. Они первыми слышали гул самолетов и передавали нам по рации – чтоб мы встречали. Это вообще-то херня, что мы успеем за то время, пока он 25 километров проскочит?

А потом НП – это тоже была проблема. Там положено быть двоим. Девчонку с девчонкой не пошлешь – страшно (были случаи, НП вырезали, правда, не у нас). Девчонку с мальчишкой не пошлешь – еще страшнее – забеременеет. В результате посылали троих. И вот сидят они целый день в этой яме, с биноклем, башкой ворочают, слушают.

Уже в конце войны (когда мы были в Польше) пришли

американские станции СОН (станция орудийной наводки). Мы с ними уже не работали. Это такой автобус, весь напичканный аппаратурой. Потолок – это небо, все разбитое на квадраты. И они за тысячу километров знают, что летит самолет, тут уже можно подготовиться.

Страшно тяготила эта армейская обстановка. Женское брало свое, хотелось хоть какого-то подобия домашнего уюта. Организовали конкурс на лучшую землянку. Говорю старшине: «Слушай, ты нам ткань на портянки метрами даешь. Давай, нарежь нам кусочки поменьше».

Сделали в землянках шторы, давай их вышивать. А ниток не было, распускали рейтузы и чулки. Чулки были желтенькие, а рейтузы – у кого зеленые, у кого розовые, у кого голубые. Вышивали, в основном, цветочки. Для нас это было спасение, что мы занимаемся женским делом. Все эти пушки, эти снаряды – все это уже осточертело. Хотелось чего-то приготовить, чего-то пошить, что-то домашнее сделать.

Сидим в положении номер один – боевая готовность. Не имеем права отойти от пушки, не имеем права отойти от прибора. У меня, стереоскописта, был такой ящик металлический, где я должна была все время сидеть (только в туалет могла сбегать). И вот мы на дежурствах сидели и вышивали.

На летние портянки давали бязь, такую, с желтизной. А на зимние – бумазейку, мягкую, нежную. Бывало кто-нибудь к лицу ткань приложит: «Девчонки, вот бы ее на пеленочки...»

Потом, когда пересекли нашу границу, можно было нитки уже достать. Это ведь у нас только все сплошь было разрушено.

В армии мы были сыты. Еда была простая, но мы не

голодали. Давали нам в сутки 800 грамм хлеба. Утром давали кашу и чай. В обед борщ или щи. На второе – каша, макароны или картошка с мясом. Третье – чай. На ужин – каша или картошка. И каждый день давали по рыбине – копченая большая вобла: половину утром, половину вечером. (Рыбу мы не съедали, складывались, и девчонки по очереди, в «гражданке», конечно,ходили на рынок. Рыбу продавали, а на деньги покупали себе или нижнее белье, или тряпки на затычки).

Девчонкам давали 300 грамм конфет на месяц. А мальчишки табак получали (или махорку). Я курящая на фронт пришла, мне давали табак (самокрутки из газет здорово крутила).

А мои в это время в Мелекессе голодали. Мама была председателем уличного комитета, и у нее украли пять продовольственных карточек. К ней за карточками приходили домой, и пока она отошла посмотреть печку, кто-то украл три взрослых и две детских. Две взрослых они отдали свои (мама и тетя), детскую (моей двоюродной сестры) тоже отдали. Остальные купили с рук и рассчитались. А самим стало нечего есть.

Меня вызвала на телефонные переговоры мама, но на почту вместо нее пришла тетя. Я допытываюсь: «Где мама? Что случилось?» А тетя мне все твердит: «Ты только не расстраивайся». Я спрашиваю: «Мама здорова?» – «Здорова». – «Шурка пишет?» – «Пишет». – «Так почему я должна расстраиваться? Что случилось?» Тут она мне все и рассказала. И все повторяет: «Ты только не плачь, мы как-нибудь переживем...»

Прихожу на батарею, комбат меня спрашивает: «Ты чего такая смурная?». Я ему все рассказала. Он добился для

меня три дня увольнительных и вы знаете, как они меня нагрузили? Про то, что они собирают, я не знала. Утром, когда мне уходить на вокзал, старшина говорит: «Вот тебе два солдата в помощь, они тебя посадят, проводят». И я вижу у них два вещмешка. Там свиная тушенка, там хлеб, крупа, наши пайки, вобла эта...

А перед самым отходом комбат вызвал меня в землянку, вручил пакет и говорит: «Вскроешь его при матери, когда приедешь домой. Повторите приказание». Я повторила. Приехала к маме, вскрыла – там пачка денег, – офицеры со своей зарплаты сложились.

Как мама плакала! Она была в ужасном состоянии, была вся покрыта чирьями, у нее это все болело... Как она распаковывала эти продукты! Достала крупу, сварила кашу, я побежала к тете, а там ее дочка, моя двоюродная сестра, уже голову с постели поднять не может. Говорю тете: «Сразу не корми, боже упаси, потихоньку..,»

И вот эти три дня я бегала их подкармливала и только следила, чтобы они помногу сразу не ели. И мама, и они. Этих продуктов им хватило на месяц, до следующих карточек.

Вернулась я в Ульяновск, прихожу к Рихтеру, своему другу еще со студенческих лет, он работал на спиртзаводе. Попросила его, он мне принес целую канистру спирта – десять литров. Пошел меня провожать (а я в гражданском, на мне шерстяное платье).

Подходим к училищу связи, я говорю: «Ну все, дальше тебя не пустят». – «А как ты допрешь?» – «Допру».

Прихожу в офицерскую землянку, говорю: «Товарищ командир батареи, большое вам спасибо. Это вам». А у нас был начальник связи – пьяница! Страх! Говорю комбату: «Уберите подальше». – Он: «Уберем».

Временами нас заедали вши. Расстегнешь гимнастерку – они сплошь сидят. Поводишь ткань об горячую трубу в землянке – они аж трещат. Всю ночь то одна, то другая к трубе подходят. Волосы отпустили длинные, они, конечно, и в волосах.

Сидим однажды с офицером, он продовольствием ведал. «Слушай, Верка, у тебя столько гнид...» – «Да знаю без тебя». (А мы тогда и не стеснялись). Говорю: «А чего делать?» – «Попроси ртутной мази». Ну, ладно, я подумала, что это такой препарат.

Иду в медсанбат, а он разместился в здании без окон, без дверей. Окна плащ-палатками завешаны. Издалека военфельдшеру кричу: «Товарищ младший лейтенант! У вас ртутная мазь есть?» Он сделал испуганное лицо и вот так палец к губам сделал: «Тихо-тихо-тихо...» Идет ко мне, я замолчала, иду навстречу. Он меня почти шепотом спрашивает: «Ты где подцепила?» – «Кого?» – «Ну как кого? Ну ты ртутную мазь просишь...» Я говорю: «Да ты посмотри, у меня гнид сколько!» Он с таким облегчением: «Ну надо же так перепугать! А я думал...»

Ну и рассказал мне, что он подумал. А потом дал мне мази, частый гребешок, сказал, как пользоваться. «Намажься, завяжись, час ходи, а потом смоешь». Я еще боялась: «А вдруг тревога? Я куда такой шишигой побегу?» Но все обошлось. Мне на голову вылили целое ведро теплой воды. Я волосы промыла, гребешком прочесала...

Когда уходила на фронт, в анкете я написала «не замужем», а на самом деле формально была замужем, хотя считала себя свободной. (Я много в жизни начудила).

Мы учились в одном классе, я его не любила, а он говорил, что любит. Потом я училась в пединституте, а он заканчивал в Ульяновске танковое училище.

И вот уже война, я доучиваюсь, а их отправляют на фронт, везут через Куйбышев, здесь эшелон долго стоит, и они все разбежались. Он пришел ко мне в общежитие и говорит: «Мне завтра на фронт, давай поженимся». Я говорю: «Не выдумывай, я тебя не люблю, у нас ничего не получится». А он: «Я уже сказал и своей, и твоей маме, что мы поженимся. Если ты не согласишься, я и до фронта не доеду, подставлю свою башку первой же пуле».

Поднялся шум, собрались мои подруги, пришла наш преподаватель, доцент, член парткома института. Начала меня стыдить: «Вера, ты же знаешь, мы все должны делать для тех, кто уходит на фронт...»

И ведь они меня уговорили! Пошли в ЗАГС, расписались, он предложил свидетельство о браке забрать мне, но я отказалась, он взял его с собой. Вышли на улицу, видим грузовик, он останавливается, выходят военные, сажают его в кузов... Он мне из кузова кричит: «Я тебя обманул, наши мамы ничего не знают, напиши им!»

Я страшно на него разозлилась. Решила так: если он придет с фронта изувеченный или раненый, делать нечего, буду с ним жить. А если здоровый – не буду! Ни за что!

Был он по натуре проныра, очень быстро продвинулся и стал служить адъютантом у генерал-майора танковых войск. И вот, будучи в командировке, он нашел меня в Ульяновске. Тогда в армии вводили погоны, мы их еще только по картинкам изучаем и экзамены сдаем, а он явился, такой красавчик, все у него с иголочки, погоны, и пропуск везде.

Приходит в наш штаб к заместителю по строевой

и говорит: «Я бы хотел видеть свою жену». Тот отвечает: «У нас таких нет, у нас девушки все незамужние». – «Моя жена у вас служит». – «Кто?» – «Соловьева Вера». Тот аж подпрыгнул! «Этого быть не может!» А мой ему показывает свидетельство о браке.

Тогда зам по строевой говорит: «Принесите все ее данные». Принесли наши списки. Он смотрит, написано: «не замужем». И вот оно, свидетельство о браке. «Где она?» – «На второй батарее». Отправили вестового. Мне часовой кричит: «Соловьева, к командиру!» Я туда. Вхожу в землянку, вижу – офицеры, человек пять. Докладываю: «Товарищ старший лейтенант, такая-то прибыла». Потом развернулась, смотрю, он сидит. Я: «Товарищ лейтенант, такая-то прибыла. Здравия желаю».

Господи! Мои командиры не поймут ничего. Один за другим смотались. Он мне говорит: «Ты не могла со мной по-другому поздороваться?» – «А как я должна здороваться? Ты ни с того, ни с сего заявился. И зачем?» Он: «Почему ты не сказала здесь, что ты замужем?» Я: «Знаешь что, не устраивай мне допросов. Ты прекрасно все понимаешь».

Дальше он говорит: «Я тебя переведу к себе в часть». – «Ни в коем случае, оставь меня в покое. Дай мне нормально служить. Я здесь уже привыкла».

Потом меня снова вызывают в штаб. «К вам муж приехал. Я подписал вам увольнительную до утра. Но смотрите, чтоб все было в порядке». (Он имел, наверное, в виду, чтоб я не убежала).

И вот мы идем по Ульяновску, идем, идем... Я ему говорю: «Ты меня долго будешь по улицам водить?» Вот тогда мне очень хотелось посидеть где-то в комнате, тихо-тихо. Пришли мы на Венец, сели на лавочку... Я говорю: «Прово-

ди меня на батарею». – «А чего так?» – «У нас отбой сейчас». Он пошел меня провожать. Подхожу к своим, идет вечерняя поверка. Выкрикивают фамилии: такой-то, такой-то, слышу – «Соловьева!» – «Я!!!» Командир и все – круглые глаза на меня... «Разрешите встать в строй!» – «Вставайте». Я встала в строй. «Батарея, разойдись! Соловьева – к командиру». Захожу в командирскую землянку. «Вы почему явились, у вас увольнительная до утра?» – «Знаете, о том, что нужно, мы переговорили. Он меня никуда не пригласил, да я бы и не пошла...» Посмотрел на меня так внимательно: «Идите».

А вскоре тетя по телефону из Мелекесса сообщила мне новость: мой муж снова женился. Как уж он это сделал без моего участия, не знаю. Потом, за всю жизнь у него было пять жен.

Служила у нас такая Л., у нее муж был большой начальник в системе НКВД. (Не знаю, как она вообще у нас оказалась). Мы с ней были постарше других девчат и как-то сошлись. И вот она меня все подбивала на самоволку. «Пойдем на телеграф сходим! Кто там нас поймает?!»

Идем по Гончаровке. Она мне: «Не приветствуй. Надоели все». Это, конечно, было утомительно – всем встречным военным отдавать честь – не только офицерам, но и сержантам. Идем, не приветствуем.

Навстречу – двое молодых лейтенантиков, только что испеченных. Проходим мимо. Они кричат: «Рядовые, остановитесь!» Я говорю: «Ну и чего, Оксана, делать будем?» Подходим к ним. «Почему вы нарушаете устав? Ваши увольнительные?» А у нас их нет. Начинаем что-то врать. «А по-

чему не приветствуете старших по званию?» Начинаем извиняться, просить прощения... «Доложите своему командованию, что вам сделано замечание». – «Есть».

Отошли, я и говорю: «Слушай, да на какой хер ты мне нужна со своими советами? Мы что, не могли увольнительную нормально попросить?» А она на меня: «Ты чего расстроилась? Подумаешь, какие-то сосунки!»

Перед самой отправкой на фронт муж добился для нее перевода, за ней приехал его адъютант.

Перед Новым 44-м годом чего-то мы все так затосковали, так захотелось домой. Спать ложимся и вот друг другу рассказываем, как в школе вечера проходили, как дома елку ставили. Ну и на бюро я предложила: а давайте Новый год устроим! Все: «А как?! Ни игрушек, ничего нет». – «А если подумать?»

Комбат дал добро и даже пообещал денег на игрушки. Елку решили ставить в столовой, игрушки делать самим. Хотели сохранить это от мальчишек в секрете, но они быстро все узнали и тоже загорелись. Давай выпиливать из дерева и зайцев, и чертиков каких-то.

Комбат дал денег (офицеры сложились из своих зарплат), мы нарядились в гражданское и пошли на центральный рынок. Купили всего несколько игрушек, они были дорогие, но зато приобрели краски и клей. Стали красить газетную бумагу, клеить из нее цепи, хлопушки, раскрасили еловые шишки. Чистили до блеска гильзы от винтовочных патронов (их везде было до черта) и тоже вешали на елку. А елочку, замечательную, нам привезли ребята. Когда ее нарядили, зажгли огни (техники постарались), все

радовались как дети. Ходили хороводом, пели «В лесу родилась елочка...» Танцевали, читали стихи. Приехал командир дивизиона, а мы ходим вокруг елки и поем.

...Кто-то уходил на посты, другие сменялись и приходили к нам. Дверь открывается – живой Дед Мороз на пороге, вся закутанная, заснеженная, в полушубке, в валенках девчонка. Мы ее скорее раздевать...

Был и праздничный ужин. Валя была повар, я с вечера ее спрашиваю: «Пироги сумеем?» – «Справимся». Замесили тесто, приготовили начинки – сухофрукты, картошка, капуста. Полночи стряпали. Первый пирог вытащили из печки, я его завернула и побежала офицеров угощать. Захожу в землянку, отдаю комбату: «Вот!» Ой, как они ели и как нахваливали! В сущности, тоже мальчишки...

Пироги и правда получились вкусные. Все очень их хвалили. Елка простояла весь день 1 января, а потом (что делать) мы ее убрали. Жаль было, конечно...

Декабрь 43-го. Ждали отправки на фронт. И вот приказ: «Сниматься». В 24 часа сняться и погрузиться в эшелоны. Что делать? Смотрим, мужики-старослужащие взялись за работу. Разбирают землянки, выбивают и сжигают солому из матрацев, нумеруют бревна, доски, гвозди выпрямляют. И нас заставляют все это делать. Мы сначала не поняли: зачем все это? А комбат говорит: вот приедем на новое место, кто тебе там что даст?

Мне некому было сказать, что нас завтра отправляют на фронт. Маме говорить не хотела. Перед нами полк выехал – его разбомбили в дороге. Не хотелось ее лишний раз волновать. Единственный, кому я могла это сказать, – это мой

«бумажный» муж. Но мне к тому времени сказали, что он уже снова женился.

С погрузкой в вагоны намучились. Пушки тяжеленные, 4,5 тонны. Мы их затягивали на платформы по мосткам из шпал. Дальше – брали на растяжку из проволоки. Под колеса вбивали деревянные треугольники.

Снаряд весил 16 килограмм 100 грамм. В ящике четыре снаряда. Ящики из неструганных досок, без ручек. Берут две девчонки эти четыре пуда и несут. Иногда рука сорвется, полногтя сорвешь.

Дивизион занимал около 70 вагонов и платформ. В наших, телячьих, печку-буржуйку и то надо укрепить, иначе она полетит, нары устраивали себе сами. В общем, упластались жутко, а проехали всего ничего – до Чапаевска – и нам команда: разгружаться. Господи! Да это вся работа – в обратной последовательности.

Приказ поступил такой: нашей батарее стоять на территории завода взрывчатых веществ.

Разгрузились, стоим на станции. Холод страшенный. А я в своей модной шинели до того замерзла – у меня дух не дышит. Смотрю – идет командир огневого взвода, тащит полушубок. «Одевай» – «Куда?» – «На себя одевай, сверху. Кто тебя щас здесь видит?»

Надела я этот полушубок. Подняла вот так воротник и уснула прямо у костра. Проснулась, чувствую, кого-то я обнимаю. Думаю, Господи, помилуй! А вдруг кого-то из офицеров? Слышу – дыхание рядом частое. А мы когда уезжали на фронт, нам собаководы подарили овчарку. И она, бедная, тоже замерзла, села со мной рядом, а по-

том, когда я легла, легла на меня чуть ли не всем телом...

Смотрю, а вокруг толпа. И: «Ха-ха-ха!» Собрались все посмотреть, как Соловьева с собакой спит. Я соскочила – собака моя даже напугалась. Потом командир огневого взвода Карманный дал мне меховую безрукавку. Вот она меня и спасла.

А шинель... Куда я ее потом задевала? Даже не помню. Я в ней еще после войны год ходила, пальто у меня не было. А потом в ней же ездила заготавливать дрова для учителей. Я была тогда секретарем горкома комсомола. Мобилизовали грузовые машины со всех предприятий, комсомольцев отправляли в лес на делянки. Потом они дрова развозили по учительским домам.

А учителей не предупредили. Вот подходит к дому машина: «Здесь такая-то живет?» – «Да». – «Куда сгрузить дрова?» (А дрова – страшный дефицит). «Какие дрова? Сколько вы за них хотите?» – «Да ничего мы не хотим. Мы вам привезли бесплатно, всем учителям, у нас воскресник...»

Не верили даже. Столько было благодарностей. И куда потом шинель подевалась...

Утром в Чапаевске комбат поехал на завод, но вышла какая-то заминка с оформлением пропусков. Он говорит кому-то на заводе: «Ну ладно, вы без нас долго стояли, еще одну ночь простоите».

А ночью завод взорвался – то ли диверсия, то ли вредительство, то ли несчастный случай. Господи! Это был такой огненный столб, такой высоты! Взрыв, потом как будто очередью – мелкие взрывы. Потом снова большой. В Чапаевске не осталось ни одного целого окна. Взрывы начались на стыке двух смен, было много погибших, несколько дней в городе шли похороны. А нас в ту ночь (меня и Машу, мы ее

звали Кнопка, очень маленького росточка была) послали катушки связи отвезти в штаб. Мы только приехали, ничего еще не знаем, штаб стоял где-то на кладбище. Дали нам сопливого мальчишку-солдатика 1926 года рождения и лошадь с санями.

И вот на заводе взрывы. Нас разбросало. Мы из снега не можем выбраться, потом смотрим – лошадь упала, в упряжке бьется. Мы подойти к ней боимся, не знаем, как ее распрягать...

Но кое-как распрягли, на ноги она встала. Я говорю парню: «Ну, запрягай». – «А я не умею». Он не умеет, а мы тем более! Вот мы накрутим, навяжем ее. «Но!» Она пойдет и из оглобель выходит. «Стой!»

Мы заколели. Мы все в снегу. Ночь морозная. (Вообще зима 43-го года была морозная). И эти взрывы, которые никак не прекратятся. Мы не знаем, где мы. Не знаем, куда ехать. Господи!

Потом смотрим – огоньки. Покажутся, погаснут, покажутся, погаснут. Видимо, это в землянках открывали и закрывали двери. Поехали на эти огни – ноги закоченели, руки не работают. Подъезжаем, часовой: «Стой, кто идет!» Слава Богу, свои – техчасть наша. Ребята-шоферня выскочили, батюшки! Схватили нас, потащили в землянку, разули, ноги спиртом растирают – страшное дело! Дали выпить нам, выпили – и уснули. Успели только попросить: сообщите комбату. А то он нас, наверное, начал уже искать.

...На второй день пришел новый приказ. Оказывается, нас разгрузили по ошибке. И нас опять грузить. Опять подали те же вагоны, опять закатывали пушки, опять растяжки, опять печки, опять нары. Не знаю, как у нас на все это хватило сил. Я вот сейчас думаю: какой резерв физичес-

ких возможностей заложен в человеке. Ну, казалось бы, накануне ухайдакались так, что сил нет стоять. А делаешь, делаешь, делаешь... И когда мы снова все погрузили, то просто вповалку на пол вагона бросились и уснули. А поезд пошел.

Полтора года я была стереоскопистом на батарее, а потом меня выбрали комсоргом дивизиона. Это офицерская должность, а я тогда была старшиной. Мне предлагают лейтенантское звание, а я говорю: не надо. Я до смерти боялась, что политработников с высшим образованием после войны домой не отпустят. А у меня мама всю войну одна. Брат неизвестно где, давал весточку из-под Сталинграда, потом долго молчал. Потом мы узнали, что он прошел Орел, Курск, Кавказ, дошел до Берлина...

Мама мне писала на фронт: мы живем хорошо, все у нас есть. А я ей с фронта писала: мама, не беспокойся, здесь тихо, еще бои не идут. В общем, всякую трепотню писали, не хотели друг друга расстраивать. Когда я стала комсоргом дивизиона, я оформила маме офицерский аттестат и она получала здесь деньги (какую-то сумму я получала еще для себя). И брат присылал маме аттестат. Так что мы ей помогали.

Шли по Украине. Страшный был путь. Никополь, ночь под 1 мая, 44-й год. Все время боевая готовность, даже еду привозили прямо к орудиям. Как без пятнадцати десять вечера – не смотри на часы, немцы аккуратный народ – со всех сторон самолеты. От одного гула сидишь трясешься...

...Дивизион открыл огонь. Рядом с нами стоял какой-то полк ,тоже зенитный. Прямое попадание бомбы – вся батарея девушек ушла в воронку...

Налет продолжался до утра. Мы боялись, что разорвет стволы пушек. Снаряды кончились, подходили в темноте машины с боезапасом, разгружали с ходу и к орудиям. А к ним уже и подойти трудно – все завалено гильзами. Снаряд весит 16 килограмм, заряжающими – девчонки.

...И вот на рассвете такая была тишина. Все цветет, птицы поют. И такая благодать... А мы все попадали: кто где стоял, там и уснул. У кого на ящике голова, у кого там же ноги. Все спали. Сидела только радистка за аппаратом. И вот она поймала песню, да так чисто, совсем без помех.

Я проснулась. Что такое? Такие слова... «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...» Смотрю, вторая просыпается, третья, головы одна за другой поднимают. Уселись все – в пыли и грязи – и с таким вниманием до конца прослушали... Вот почти каждую песню есть с чем вспомнить. А песню «Соловьи» мы узнали именно в то утро.

И вдруг мы слышим – колокольный звон. И, не сговариваясь, как загипнотизированные, человек 8–10, пошли на эти звуки. (У меня контузия, из ушей кровь идет).

А оказывается, первый день Пасхи совпал с первым маем. Пришли к храму. Старухи нас обступили: «Доченьки! Доченьки!» Плачут... Чем-то нас взялись угощать. А нам не до угощения. Нам только бы тишины...

Вошли в церковь. Старушки нас – на первые ряды: «Проходите, проходите...» И запел хор... Никогда больше в жизни ни один хор на меня так не действовал. И вот только мы окунулись в эту благодать, только забылись, вдруг: «Тревога!» Мальчишки за нами прибежали.

С нас мигом все слетело! Как мы подхватились, бабушек этих перевернули, через них бежим... А там – вся батарея уже построена, кругом бедлам, гильзы набросаны, ящики пустые валяются, землянки некоторые от бомбежки обвалились.

Прибежали, батарея стоит. «Разрешите встать в строй!». Нам встать в строй не разрешили. «Встаньте рядом. Соловьева, шаг вперед». Я вышла. «Кто организатор ухода?» А я не знаю. Мы никто не договаривались. «Кто организатор самовольного ухода с позиции? Вы знаете, что за это бывает?» – «Да». – «Разойдись. Соловьева в командирскую». А «командирская» у нас – это был разбитый автобус, мы его вкапывали в землю, это был КП.

Пришла туда. Комбат опять меня давай допрашивать. А я стою, смотрю на него и только повторяю: «Господи, как было хорошо! Как было тихо!» Он на меня посмотрел и говорит: «Ну ты с ума сошла. Иди отсюда».

Мы ждали ревтрибунала. Но нет, после того, как он со мной вот так поговорил, никто больше этот случай не вспоминал. А я месяц ничего не слышала, как дурочка ходила. На кухне помогала, картошку чистила. И все жалела, почему я не училась у мамы шить: куда я теперь пойду глухая.

Я даже к демобилизации уже готовилась. А врачи меня все снотворным поили. Выпью и опять сплю. Девчонки поесть принесут, меня разбудят: «Вера, давай поешь». Я проснусь как пьяная, поем и снова спать.

И вот, видимо, нервы у меня немного успокоились, и слух стал восстанавливаться. Как-то закричали тревогу, я услыхала, соскочила и со всеми бегу. Все ко мне подбегают: «Слышишь меня? Слышишь?» – «Слышу! Слышу!» У меня слезы от радости!

После этого налета у меня в одном ухе в барабанной перепонке дырка. Прихожу теперь к врачу (он мой бывший ученик), глянет и каждый раз говорит: «Ну, здесь, Вера Ивановна, бесполезно, здесь у нас артиллерия поработала...»

На освобожденных территориях было страшно. Разрушено все, одни трубы печные торчат, вся скотина перебита, рев, плач, стон. Ребятишки голодные, у каждого баночка из-под консервов и ложка. Только бы где-нибудь поесть. Просили у нас. Эшелон останавливается, они обступят, ручонки тянутся... худенькие... Если у тебя сухарь есть или кусочек сахара, или конфетка – все отдашь.

Один мальчик лет десяти «прилип» ко мне и не отходил все время, пока мы стояли. «Ты будешь моей мамой?» Что я должна была ответить? «Война кончится, буду».

Привезли нас в какое-то украинское село (в Западной Украине). Стали расквартировывать на ночь. Офицер комендатуры разводил нас по домам. В одной хате хозяева вытолкали наших девчонок на улицу, видимо, страшно боялись бандеровцев.

Я смотрю, идет по улице Маша Махотина (та самая Кнопка) и плачет: «Нас выгнали». Офицер комендатуры давай ее стыдить: «Ты – солдат непобедимой армии! Тебя выгнали! Вытри слезы и сопли, чтоб я не видел!»

Повел он их снова туда. Поставил в этом доме часового и сказал хозяевам: «Если хоть что-то произойдет, всех расстреляем!» И вот всю ночь (с переменой) часовой их охранял. Конечно, девчонки всю ночь не спали.

А мы попали в очень хорошую семью. Хозяин мне даже говорил: «Вот не было бы войны, я бы тебя выдал замуж за своего сына».

На одной станции у нас украли девчонку. Стояли в эшелоне – не знаю даже где. Она была на посту. И ехали танкисты – развеселые! Подошли сзади, рот ей заткнули и в свой вагон. И увезли. У нас переполох: пропал часовой с поста. Потом она написала из той части, что ее украли. Так она и осталась там служить.

Что иногда творили, уму непостижимо! Но – хорошие ребята были.

Потом мы в Молдавии стояли, в Рыбнице. Было сильное Яссо-Кишиневское направление. Мост через Днестр был взорван. Наши саперы за 24 дня его выстроили – мост деревянный и, конечно, все на живую нитку, шпалы просто уложены и по ним рельсы. Нас оставили на охране этого моста. Сказали: «Жизнью своей за него отвечаете!»

Пока этот мост строился, немцы на него охотились. Как только 10 часов утра, звездный налет – со всех сторон – самолеты. Но хорошо работали химики: поджигали шашки, весь Днестр покрывался плотным туманом – ничего не разглядишь. И вот немцы куда попало бомбы сбросят и восвояси.

Наши батареи стояли по обе стороны Днестра, а на мосту – расчеты нашей пулеметной роты. Заместителем командира была Сахарова Нина, такая отчаянная...

И вот ночной налет. Немец сбросил осветительную авиабомбу на парашюте. (А эти авиабомбы когда горят, хоть

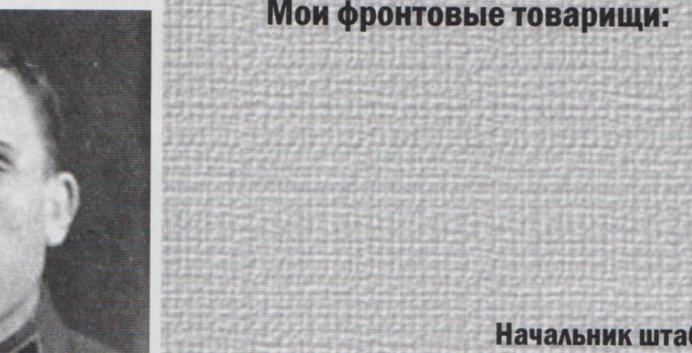


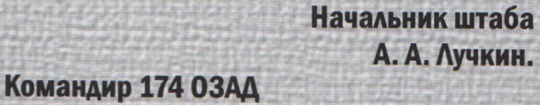
Мой брат Александр Соловьев.
Ушел на фронт из 10 класса
в 1941 году.



А это я. Еще в Ульяновске.
Сентябрь 1943 года.

Мои фронтовые товарищи:





Командир 174 ОЗАД
И. В. Дорожкин.

Начальник штаба
А. А. Лучкин.



Командир батареи МЗА
П. Карманный.



Политрук 2-й батареи
А. А. Пинчук.

Отделение стереоскопистов 2-й батареи:
Морозова, Козырицкая, Шармай (командир), Соловьева.

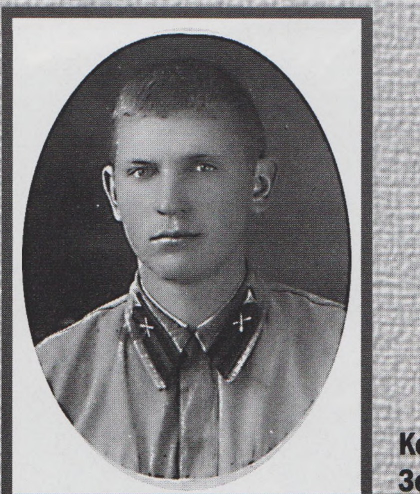
Командир батареи МЗА
Степанов.





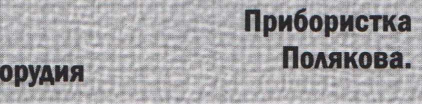
Старшина 2-й батареи
Лукашев.

Командир орудия
Л. Цукманов.



Командир орудия
Зенкин.





Прибористка
Полякова.



С Машей Махотиной.
1943 год.



Уланова Люся,
1-я батарея.

Повар Н. Овчинникова.



Командиры орудий:



Шкляренко.



Карельский.



Командир пулеметного
расчета Ивакаева.



Разведчик
Таня Свирская.

Маруся Добрина.



Маша Бедина.

Наш санитарный батальон.

Мои школьные друзья:

Танкист Толя Шагин.

“Милый чертик” Толя Тарасов.
После тяжелого ранения.



Комсомольский актив 174 ОЗАД.



Надпись на обороте:

“На память Вере от Пучковой Ани. Пусть эта фотография напомнит тебе о нашей теплой фронтовой дружбе и пройденном фронтовом пути. Было очень тяжело, но хорошо.”

18.5.45. Польша. Освенцим.

Победительницы.
Освенцим. Май 1945 года.

Все еще впереди...

иголки собирай, до того светло). Сначала наши пулеметы вели заградительный огонь по самолетам, но потом видят – бомба висит, мост полностью демаскирован, у немцев он как на ладони. И эта Нина самостоятельно принимает решение и дает своим расчетам команду: «По осветительной авиабомбе – огонь!» И как они из пулеметов дали! Всю эту бомбу разбили вдребезги – она рассыпалась и погасла. У немцев снова ничего не вышло, они где попало сбросили бомбы и улетели.

А Нину Сахарову наградили орденом – за смелость в принятии решения (хотя по сути она нарушила приказ).

У наших радистов была обязанность записывать с эфира последние известия. Одна девушка у нас была стенографистка, нам это очень помогало. Запишет она, потом расшифрует, мы отдаем машинистке. Та печатает несколько экземпляров, и мы раздаем на батареи – каждый день утром политинформация. (В каждой землянке – обязательно географическая карта, где линия фронта отмечается флажками).

И вот в Рыбнице слышу, часовой кричит: «Соловьева, на выход!» Подхожу: «Чо случилось?» – «Вон тебя кто-то просит». – «Кто?» – «Гражданский». – «Странно, я тут никого не знаю». Иду, а часовой мне: «Смотри...» – «Да чо смотреть, вон девчонки стоят».

Подхожу. Молодой человек. Представляется – из горкома комсомола. При немцах они были подпольный горком комсомола. «Как вы получаете информацию? Нам бы хоть что-нибудь. Люди ничего не знают... Помогите». Я говорю: «Помогу. Приходите сюда каждый день, я буду давать вам

один экземпляр. А уж размножать будете сами». – «Ну, спасибо, хорошо».

Спрашиваю его: «А у вас горком партии есть?» – «Сейчас есть». – «Ну, ладно».

Несколько дней они приходят за распечатками, я им выношу, они берут и распространяют. А я думаю: надо сходить в горком партии, посмотреть, что там. Прихожу, на двери табличка «Секретарь горкома», открываю дверь, женщина сидит. Ближе-то как подошла, она как закричит: «Верочка!» Боже мой! Как мы с ней друг к другу бросились! Я говорю: «Вы чего здесь?» – «Вот, ЦК послал сюда, восстанавливать».

Она преподавала у нас в институте, читала марксизм-ленинизм и запомнила меня как студентку. «Так это ты нам помогаешь?» Я говорю: «В чем? Ах, в этом?» – «А у меня комсомольцы приходят такие довольные, что сами разыскали пути, тебя нашли...» Я говорю: «Они в воинскую часть пришли и пригласили комсорга...» – «Ой, большое тебе спасибо. А здесь – ничего. Ни детских домов, ни школ, ни садиков – все разрушено. Все приходится начинать сначала».

Мы быстро уехали, и я больше о ней ничего не знаю, жива ли она сейчас, уж я и фамилию ее забыла...

Где стояли мы, я уже не помню. Нарушилась проводная связь и двух девчонок-связисток послали ее восстановить. Идут они, тут речушка какая-то, старик рыбу ловит, а подальше прошли – небольшая избушка (лесника или охотника) и звуки губной гармошки, громкий разговор, хохот.

Порыв они еще не обнаружили, стороной миновали эту

избушку, идут дальше. Перешли вброд реку, порыв нашли, восстановили связь и – обратно.

Их увидел этот старик: «Подождите, девушки, я вам сейчас кое-что принесу...» И уходит в эту домушку. А вокруг нее ходит немецкий часовой. Они все поняли и тут у них включился инстинкт борьбы за жизнь – от безвыходности ситуации. Как часовой вышел из-за угла избушки, одна сзади прыгнула на него, накинула ему на голову телогрейку, а вторая проводом ее обмотала. И потянули они его в лес.

Одна из них мне потом рассказывала: «Вера, ничего не помню, чего я делала, как я делала...» Приволокли они его на батарею – здоровый был немец, в телогрейке он чуть не задохнулся. Бросили его и сами упали. Немцем сразу заинтересовался штаб. А он только успел спросить по-русски: «Кто это сделал?» Ему показали двоих мокрых девчонок. Он аж простонал: «Эрзац-солдат...»

Его увезли в контрразведку, а девчонкам дали по ордену Красной Звезды.

Со «связями» у нас было очень строго. Любовь, конечно, была (сама любила), но ты боялся на человека лишний раз посмотреть. Потому что тебя сразу отправят куда-нибудь в другую часть. Его не отправят, потому что он офицер или, скажем, командир орудия. А тебя...

Был такой неписанный закон. Ты прибываешь в часть. Через какое-то время приходит приказ: столько-то человек из этой части перевести в другую. И вот этих людей, к которым есть какие-то претензии или кто-то замечен в конфликте, или в любви, их отправляют. И страшно попасть в

категорию таких людей, потому что в следующей части к этим новичкам могут отнестись точно также. И оказывается, что у них нет родной части, пойдут «по рукам». (Вот у меня вторая батарея – родная, дивизион – родной, я нигде больше не была и дорожу этим).

У офицеров, наверное, были романы, но это чаще всего с гражданскими, в тех местах, где мы подольше стояли. Наших девчонок не трогали: и их берегли, и сами боялись. Но от любви, как говорится, не убежишь.

Сначала я понравилась одному младшему лейтенанту. Он хороший паренек, но... Моей любовью был начальник штаба капитан Лучкин. Нигде мы особо не встречались, в основном, по работе. Конечно, смотрела на него другими глазами. А потом – не знаю даже... Эшелон что-то долго стоял в одном месте. Он мне говорит: «Пошли потренируемся, постреляем». (Я же комсоргом дивизиона была, у меня пистолет). Ну, пошли мы... Ну, в общем, дострелялись.

Он мне очень понравился, был очень порядочный. Все возмущался и переживал за девчонок, которые на фронте забеременели. «Ну зачем это? Такой трудный момент – роды, а они одни, рядом нет мужа...» И мне говорил: «Зачем торопить события, вот закончится война, поженимся, и все будет своим чередом. Я не представляю, как я бы отправил тебя в тыл беременную». Вот такая в нем была нравственная чистота.

А я вообще в этом отношении как-то поздно развилась. У меня и в башке ничего такого не было, а он ни на чем не настаивал. («Ну что, поцелую я тебя?» – «Нет, не поцелуешь»). И целовались мы с ним всего несколько раз.

За один эпизод мне до сих пор стыдно. У нас был ансамбль песни и пляски. Репетировали когда затишье или

когда эшелон долго стоит. Руководителем был старший техник-лейтенант, он в Пензе, до сих пор жив, мы с ним перезваниваемся. А хореографию ставила девушка из клуба Сталинградского тракторного, она там до войны работала. А сама как плясала «Цыганочку» – это невозможно, я прямо на стуле усидеть не могла.

И вот у нас репетиция – «Цыганочка» с выходом. Надо было выходить после первого куплета. А тут вошел начштаба, моя любовь. Я про все забыла и пошла плясать, как только заиграла музыка. Все мои партнерши стоят, а я пляшу. И все поняли, что со мной произошло. Командир дивизиона, который сидел в зале, кричит: «Начальник штаба, закройте дверь с той стороны!»

У нас было три случая, когда девчонки по беременности уезжали домой. Причем «виновником» все три раза был один и тот же человек – лейтенант Т. Сволочь такая был! Офицеры ему жизни не давали, так над ним издевались! В конце концов его от нас перевели.

А девчонки... Увидят, что она беременная, в землянке ей объявляют бойкот. Стоит в строю, пузо торчит, все смеются. Мне, как комсоргу, приходилось разбираться. Приду – она сидит, плачет. Никто с ней не разговаривает. Начинаю их стыдить. «Что вы делаете? Она же одна из вас!» – «А нечего! Если она решила уехать домой, пусть едет...»

Домой, конечно, а куда же еще? Собирали их все вместе. Старшина ткани на пеленки даст: и летние, и теплые, продуктов в дорогу... Все, что возможно, делали. И с сопровождающим солдатом ехала она домой.

Каждая смена дислокации – это такой труд для батареи! Пушки таскали гусеничные тягачи, он прет, а мы за ним, подталкиваем. Один раз пушка попятилась, и у одной девчонки нога под колесо попала, ногу всю раздавило.

На место придем – в первую очередь надо окапывать пушки. Их зарывают – один ствол торчит. Приборы где-то на метр в глубину окапывали, чтоб их не было видно. Для снарядных ящиков рылись специальные ниши.

А дальше надо вырыть и построить четыре землянки для личного состава, пятую – для офицеров, шестую – для командного пункта... Ой, сколько нам пришлось за войну перекопать! Руки до того натруждали, что ладони не распрямлялись, мозоли начинали трескаться. Но мне нравилась эта самостоятельность. Все свое, ни от кого не зависишь. Потом все разбираешь, складываешь и едешь на новое место.

В 1944 году председатель Президиума Верховного Совета Калинин собирал совещание – по вопросу женщин-военнослужащих. А тогда в частях было так: комсорг – девушка, парторг – мужчина. Или наоборот. Чтоб можно было решать и те, и другие вопросы. Потом к нам приезжала майор Кондрашина, участница того совещания. Михаил Иванович с трибуны спросил: «Расскажите нам, как живут в армии наши дочери? Не обижают ли их?» Ему ответили: «Нет, не обижают».

И это правда. В армии дисциплина была. Я люблю армию за ее дисциплину. Если б я была мужиком, я бы была в армии.

Но проблем чисто женских было много. Некоторые из них не были решены до конца войны. В конце 1944 года, после

совещания у Калинина, пришел приказ об устройстве санитарных землянок. Она была вынесена немножко за батарею. Там мы могли умыться, подмыться, постирать. Там в котле всегда была горячая вода. Дежурили по очереди и девчонки, и парни. Всегда туда кто-то (кто свободен) приходил. Или стирал, или: «Вали отсюда, я помоюсь». Санитарная землянка нас, конечно, спасала.

Через некоторое время после совещания у Калинина мы получили партию сапог (разных размеров, начиная с 35-го). Мы получили парадные платья: воротничок – стоечка, карманы на груди, поясок из такой же ткани защитного цвета. (Я еще после войны год ходила в нем на работу в школу. А тогда мы их не могли носить. Как наденешь, кажется, что штаны сваливаются. Мы же привыкли затягиваться: старшина подойдет, крутанет пряжку, если слабо затянут ремень – наряд вне очереди).

Прислали трусы, бюстгальтеры. Даже такие гигиенические наборы: в коробочке расческа, частый гребешок – вшей чесать, набор пуговиц, звездочки на головной убор… Так мы были рады, такое мы благодарственное письмо Калинину написали… Офицеры и те к нам относиться по-другому стали: «Девки-то наши, не узнаешь!»

Освобождали город Марганец на Украине. Это город шахтеров, там добывают марганец. Немцы, когда его захватили, вывозили сначала чистую продукцию – со складов, после переработки. А потом уже вывозили руду, она очень богатая, марганца в ней до 45 процентов.

Уходя, немцы взорвали шахты, вместе с людьми, на стыке двух смен. А мы в это время вошли в город. Там такой

рев стоял... Весь город – одно сплошное горе, ведь в каждой семье кто-то погиб. Мы помогали раскапывать шахты и извлекать погибших.

Огневых позиций мы не развертывали, ждали приказа, нас вот-вот должны были отправить дальше. Глядя на все это горе, я говорю: «Давайте дадим концерт нашего ансамбля». На меня сначала замахали руками: «Какой концерт?! Тут вон чего творится!» – «Так надо вывести людей из этого состояния».

Пошли с руководителем нашего ансамбля песни и пляски в ДК «Шахтер», красивое большое здание. Вошли... Немцы там устроили конюшню. После лошадей вся грязь осталась. Гримуборные разбиты снарядом, сцена цела. Позвали ребят, метлами, швабрами все вымели и вымыли. Вопрос: на чем сидеть? Напишем!

Сделали несколько афиш: в 18.00 состоится бесплатный концерт для жителей города. Иметь при себе табуретку, стул или лавку... Переживали, конечно, пойдут или не пойдут? Как потянулись люди... Народу пришло! Кто с ящиком, кто с коробкой, кто с лавочкой, кто с табуреткой. Полный зал!

Начинали мы всегда с песни «Священная война», это пел наш хор. И вы знаете, весь зал плакал. Встали все и все ревут. И мы не можем петь, спазмы душат. Ну ничего, спели кое как. Аплодисментов было – море. По программе у нас должны были быть еще песни, но Толя Жиляев, наш руководитель, вдруг командует: «Построение на «Калинку». Мы поняли, он хочет сбить это настроение, разрядить обстановку. 24 человека в этом танце участвовало, мы выстроились в два ряда и как дали! Выложились все! Три раза они нас вызывали на бис. (Аккомпаниро-

вал нам наш баянист Коля Сафонов, ульяновский, между прочим).

А после концерта были танцы. Мы своим мальчишкам говорим: «Вы нас не приглашайте танцевать, приглашайте гражданских девушек». (Они пришли, так скромно одетые, кто в чем). Как всегда, танцы открывал вальсом командир дивизиона. Пока он с партнершей круг не пройдет, никто танцевать не идет – это у нас такой закон был. Вальс они прошли, он садится на свое место – и тогда пошли все...

Танцевали до полуночи (и вальсы, и польку, и краковяк), а потом стали расходиться. И столько было благодарности... Да и у нас никогда больше такого концерта не было.

В Марганце мы позиций не развертывали (опять нас не там разгрузили, где надо). Мы разгрузились, выставили посты прямо на железной дороге и несколько дней ждали эшелона.

Там много было захвачено немецкого оружия. А мы никогда из немецких винтовок не стреляли. Старшина Лукашов говорит: «Давай собирай девок, и будем сейчас учиться стрелять, патронов до хера». Вышли в поле, плащ-палатки расстелили и с винтовками залегли. У каждой своя мишень. Старшина шутник был, командует: «Девочки, ножки шире!» А потом: «Заряжай!», «Огонь!»

А у этой немецкой винтовки такая отдача, такой гром! Меня аж вот так всю развернуло, я думала мне плечо оторвало. От такой неожиданности я выругалась: «Их, е... твою мать!» Девки мои услышали и старшина услышал. Вот они начали ржать! «Верка, ну ты даешь!» – «Да идите вы к черту!»

Старшина просмеялся, спрашивает: «Будете еще стре-

лять?» – «Будем». Тогда он объявляет: «Выстрел второй. Стреляют все, комментирует старшина Соловьева!»

В общем, настрелялись. Все плечи себе отбили, потом у всех синяки были. Дурацкая у немцев винтовка.

Наступление на город Освенцим в Польше было стремительным. Потому что наши знали: по ту сторону Вислы – лагерь смерти, надо было спасать людей.

Еще в 1939 году немцы на территории Польши построили крупный подземный химический завод. Заключенные Освенцима должны были на нем работать. Когда они вырабатывались до полного изнеможения, их отправляли в лагерь смерти.

Дорога к лагерю была вся в трупах. Потому что они погнали пленных своим ходом, тех, кто мог еще ходить. А это скелеты. Они падали, их добивали кого прикладами, кого пристреливали. Наши механизированные части пройти не могли. Санитарные батальоны расчищали эту дорогу.

Передовые части прошли, а нас оставили в Освенциме. Не приведи, Господь, никому. Это была настоящая фабрика смерти. Площадь сорок квадратных километров, около шестисот бараков, в которых жили смертники. Четыре печи крематория, где день и ночь жгли трупы. 4 миллиона людей сожгли. Наших стреляли и сжигали вне всякой очереди – немцы боялись «большевистской заразы». По периметру была изгородь с током высокого напряжения. Были случаи, когда заключенные в отчаянии бросались на эту проволоку и сгорали.

Санитарные отряды (люди в специальных костюмах) прочесывали все бараки. Вытащили три тысячи смертников, это скелеты, обтянутые кожей. Наши мальчишки сорвались было им помогать, но их быстро оттуда убрали, потому что

очень боялись всяких инфекций. Там занимались профессионалы.

Насмотрелись мы тогда! В конце, видно, печи уже не справлялись. Там были горы полусгоревших трупов: лопнувшие животы, вывалившиеся глаза. Вонь стояла... Бродячие собаки... А крыс там... Ой, я думала, что я помешаюсь. Я до смерти боюсь крыс и мышей.

...Когда первый раз машина пошла в лагерь, вдруг водитель среди дороги остановился и выключил мотор. Мы понять ничего не можем, выглянули из кузова: «В чем дело?» Смотрим по сторонам, а нам кажется, что земля вокруг серая, и она какими-то волнами идет.

Сначала ничего понять не могли, а потом, как писк услышали... Крысы шли на водопой в Вислу... Мы притихли в ужасе, прижались друг к другу и ждали, когда они пройдут. Они прошли мирно, и мы поехали дальше. Мне кажется, если б мы кого-то раздавили, они бы сожрали нас.

Ну вот... Там, в Освенциме, все шло в дело. Пепел человеческих тел затаривался в мешки, увозился в Германию, на удобрение. Увидели целую гору человеческого волоса... Там ведь как было. Человек прибывает, с него все снимают, вещи отбирают и в санпропускник. (Разрешалось брать с собой не больше 10 килограмм, и люди брали все самое ценное).

Тридцать стульев парикмахеров, сразу все стригут. Если какой золотой зуб, его тут же выдерут. И дают женщинам платье из простого холста – длинное, прямое, как мешок с отверстиями для головы и рук. Сзади – большой красный крест – чтоб издали было видно. А у мужчин было что-то вроде пижам.

В газовую камеру набивали до трехсот человек. А потом стена раздвигалась, и тоже смертники с носилками на колесиках сбрасывали трупы в печь крематория. (Печи немцы взорвали при отступлении).

И при этом на бараках висели лозунги: «Чистота – залог здоровья», «Труд облагораживает человека». А возле бараков посажены цветочки.

Фамилий у людей не было, на руке был выжжен номер. Мне запомнилась наша женщина из Днепропетровска, я помню даже ее номер 99999. (Она потом усыновила мальчика-француза, родителей у него сожгли).

Мы были нервно потрясены. Вот, казалось бы, устал, ложишься, а уснуть не можешь. А мы раздевались редко. Расстегнешь гимнастерку, ремень чуть ослабишь, сапоги снимешь...

И вот то одна кричит, то другая кричит, то вскочит и плачет, куда-то бежит... Всех трясет как в лихорадке. Нам стали в котлах заваривать валерьяновый корень и когда приходили в столовую, нас заставляли его пить.

У одного кostровища, где сжигали трупы, в золе я увидела верхнюю челюсть – металлическую, из нержавейки. Взяла в руки: «Господи, это ведь человек был... Где-то у него отец, где-то мать, а его сожгли...» И сама не знаю зачем, взяла эту челюсть себе. Зашла в медсанчасть, попросила спирта, продезинфицировала ее и... привезла домой. В какой-то коробочке, не помню уже из-под чего.

Дома мама спрашивает: «А чего это, Верка, у тебя в ко-

робочке?» Я говорю: «Мама, вот так и так». Она: «Как же ты... Ее же надо земле предать, это же часть человека...»

И вот утром (я даже не знала), взяла она эту коробочку, в огороде выкопала ямку и там похоронила. Сначала она хотела на кладбище идти, во время чьих-нибудь похорон в гроб положить. Я говорю: «Не надо, мама. Мы же не знаем, как люди к этому отнесутся. Так что не связывайся». И вот она нашла другой выход.

Вот так мы стояли в этом Освенциме (это не только лагерь, это польский город). Потом нас вызвали в комендатуру: «Смертники просят, чтоб к ним пришли «их вызволители». Командир дивизиона говорит мне: «Собирай, Соловьева, ребят». Скомплектовала я делегацию человек 15 – лучших своих мальчишек, девчонок, старослужащих.

Приехали в госпиталь, боже ты мой! Лежат на койках скелеты, а как нас увидели – заволновались, каждый по своему кричит, хватается, хочет привлечь к себе внимание.

Мы растерялись, стоим посередине палаты. Один среди нас был мужчина лет сорока (нам тогда казалось – старик). И вдруг мы слышим – кто-то его по имени зовет. Я на него так поглядела, а он на меня вопросительно смотрит... Снова его кто-то зовет. Я говорю: «Ты слышишь?» – «Слышу». А потом он увидел – в углу лежит скелет и рукой его манит. Он вгляделся, да как к нему бросится! Это из Могилев-Подольска был его сосед. Боже мой! Как он упал на эту кровать, как они плакали...

Дальше, лежит болгарин, молодой парень, лет восемнадцати. Позвал нас, мы подошли. И первый его вопрос: «Правда ли, что вас взяли в армию, чтобы вы обслуживали

офицеров?». Я говорю: «Это кто такую дрянь сказал?» Говорю: «Я сейчас комсорг. А была стереоскопистом. А вот эта девушка – наводчик, первый номер на орудии. Это – приборист, это – из пулеметной роты. Мы сбиваем фашистские самолеты. Мы – солдаты».

Потом он спрашивает: «А правда, что у вас тем, кто учится в институтах деньги дают?» Я говорю: «Правда». – «А какое у вас образование?» – «У меня высшее образование. Я учитель». Он: «О, какой у вас отец был богатый!» (Думаю: «Чего это он меня морочит?» Сейчас-то я бы его хорошо поняла). Говорю: «Нет. Мне было 7 лет, когда папа умер. Воспитывали меня мама и ее сестра. Так что я училась сама. Мои подруги получали стипендию 130 рублей. А я Сталинскую получала стипендию». – «А что это такое?» – «Это когда учатся на отлично. А Сталинская стипендия 500 рублей».

Потом он тихо так спрашивает: «А меня в Москву пустят?» Я говорю: «Пустят. Тебя вылечат, ты поправишься и будешь учиться». А сама думаю: «Куда же ты с переломом позвоночника?» Но, правда, их здорово выхаживали. Наши развернули в нескольких корпусах мощный госпиталь, из Москвы прилетели профессора.

Долго они нас не отпускали. Пуговицы со звездочками все с нас поотрывали: «Подари, подари!» Звездочки с пилоток – тоже поснимали. Приходим в часть все ободранные, старшина ворчит: «Вы что, думаете, что у меня тут магазин? Мне нечем вам заменить!»

В следующий раз, как уходим в госпиталь, нам наказ: «Ни одной пуговицы не отдавать!» Я у командира части добилась, чтоб тому нашему солдату выписали постоянный увольнительный билет, он каждый день ходил от нас

в госпиталь – к своему соседу и ко всем вместе. И мы делегацией несколько раз ходили.

После освобождения Освенцима наши начали демонтаж подземного химического комбината (брали все, вплоть до розеток). Оборудование отправляли в Советский Союз, на Урал. Поляки возражали, почему мы все это забираем? У них у самих не было такой промышленности.

На демонтаже работало около десяти тысяч немецких военнопленных. Каждый день их прогоняли мимо нас, после этого – вонища ужасная на всю улицу. Они вели себя агрессивно, ругались, плевались. Комбат нас гонял: «Не стойте вы тут, не смотрите, ну их к черту!»

«Студебеккеры» возили оборудование к железной дороге. Колея у них уже, пришлось нашим ее расширять. И тогда пришли составы с большими паровозами «ФД» (Феликс Дзержинский). Огромные, мощные (по сравнению с европейскими), впереди – портрет Сталина. Мы смотрели на эти составы и от счастья плакали.

Отношение к немцам у меня осталось. (Ничего не могу с этим сделать). До сих пор я их ненавижу. И меня коробит, когда наши ездят туда и раскланиваются перед ними. Кто бы увидел, что они там творили…

Когда приехала после фронта, неделю не могла шевелиться и никуда ходить. Мама меня выгоняла: «Да иди хоть в кино сходи». Я пошла в кино. Купила билет как путный человек, уселась, никого знакомых нет. Сижу в военной форме.

Открывается экран. Заголовок: «Освенцим. Лагерь смер-

ти». Как это все снова открылось передо мной... Мне кажется, что я тут бегу, вот тут еду на машине. Эти бараки...

Я не могла это вынести... Мне стало плохо, я встала и пошла к выходу. Домой прихожу, мама: «Ты что так быстро?» – «Мама, ну надо такому случиться?! Такой киножурнал мне перед фильмом попался...»

Ближе к концу войны приезжает к нам майор Кондрашина, зам. начальника политуправления фронта по комсомолу. Вот, так и так, нам надо сохранить семейные пары. «Кто тут у вас с кем?» Я говорю: «Ничего я не знаю, никто, ни с кем и ничего!»

Она мне втолковывает: «Слушай, ты пойми, политика теперь изменилась. Раньше нельзя было встречаться, а сейчас другое дело, война скоро кончится, эти пары надо сохранить, такие будут семьи хорошие! Ведь они свою любовь пронесли через такую войну!»

Я долго не верила, но потом она меня убедила, что это не просто слова. Пять или шесть пар у нас ездили из Польши, где мы стояли, во Львов – регистрироваться. Я ездила за мать, командир дивизиона – за отца. Приезжаем оттуда в дивизион – там уже все накрыто...

Командир дивизиона был у нас человеком своеобразным. Насчет наград он, например, говорил так: «До тех пор, пока я не получу столько, сколько мне нужно, никто в дивизионе ничего не получит». Но мы о наградах никто и не думали. Абсолютно понятия не имели. Самая дорогая награда – это медаль «За победу над Германией». Это обо всем говорит.

В Освенциме мы стояли до конца войны. Штаб у нас был в Германии. Мы тогда подчинялись 85-й дивизии, а до этого Сталинградскому корпусу противовоздушной обороны.

Восьмого мая прошел слух: «Победа, победа, победа...» Все взбудоражились, но по радио ничего не передали. Командир части, замполит, парторг и я как комсорг поехали в комендатуру узнать – есть официальное сообщение или нет. Ничего не было. Мы вернулись в полном разочаровании.

Все рации настроили на прием, но вечером в «Последних известиях» тоже ничего не было. «Идут бои, погибших столько-то...» . Легли спать расстроенные.

И вот в три часа ночи вбежал к нам начштаба Лучкин (мы уже в домах жили, а не в землянках): «Девчонки, Победа!» Нас с кровати как черт какой подбросил! Соскочили в рубашках, бросились к нему, как начали его трепать, целоваться лезем, он аж опешил!

Выбежали на какую-то крышу – смотреть. А стрельба! Больше чем во время войны, из всех видов оружия! Боже мой! Я говорю: «Пошли отсюда, а то убьют нас здесь к черту!»

Что творилось, представить трудно. Кое-как дожили до утра. Командир дивизиона, зам по политчасти и я поехали поздравлять с Победой бойцов и офицеров – по подразделениям: первая, вторая, третья батареи, батарея «МЗА», пулеметная рота, медсанбат. Только машина показывается, все уже выстроены. Никогда не забуду этих счастливых лиц. Как только команда «вольно», все бросаются на нас: на меня девчонки, конечно, мальчишки – к офицерам. Все и плачут, и смеются, и все на свете...

Все подразделения так объездили. А была у нас техчасть, там шофера и техники. Они жили у нас отдельно. Пока мы до них доехали, они так нахлестались! В дымину пьяные!

Шагали через них как через трупы. Потом уж говорим командиру: «Да вы уберите их, хоть по кроватям разложите...»

В день Победы кинулись мы все фотографироваться. Пришли в ателье, нас сопровождал офицер. Потом все негативы он изъял (так положено было, наших фотографий там не осталось). А с моим снимком женщина-фотограф подошла к Лучкину (это он нас сопровождал) и говорит: «Пани очень красивая. Дайте ей негатив». Он засмеялся и говорит: «Пусть возьмет». И она отдала мне негатив.

...Потом дивизион давал последний залп в честь Победы. Стреляли хорошо и красиво. Снаряды ложились ровными квадратами – точно сработали прибористы и орудийщики. После этого вычистили приборы, пушки – и зачехлили. Войне конец.

Начались страдания и ожидания приказа о демобилизации. Ничего не хотелось больше делать. 23 июня 45-го года был принят Закон о демобилизации старослужащих и девушек. Стали собираться домой.

Я уезжала на неделю раньше, чем все девчата. Нас, комсомольских работников, вызывали в ЦК ВЛКСМ, чтобы направить на руководящую работу. За несколько дней до моего отъезда офицеры дивизиона устроили мне проводы. К этому дню я сшила себе платье, нам выдали на память по отрезу красивой шерсти.

Платье мне сшили в ателье, в Освенциме. Идем по городу, смотрю – пошивочное ателье. Содержала его француженка. Вошла я – в гимнастерке, в сапожищах. Она: «Пани, пани...» Не знала, куда меня посадить и как угодить. Я показала ей отрез прекрасной зеленой шерсти, говорю: «Мне

надо красивое платье». (Они уж тут все собрались и бегали вокруг меня. Думаю: «Господи, у нас бы так...»)

Стали выбирать фасон. Тогда модными были пышки, здесь две бортовых складочки – сзади и впереди, на поясе красивая зеленая пряжка и пуговички зеленые. Из трех фасонов у них на картинках собрали мне один. Она это быстренько нарисовала. Потом расстелила на большом столе огромный рулон бумаги. Раскроила все, вырезала детали. Я встала, они приложили эти листы ко мне и все на мне заметали. Объяснили: здесь такая строчка пройдет, здесь такая, здесь пуговки, здесь пряжка. Я говорю: «Хорошо». (Ни в одном ателье я больше такой технологии не встречала).

И через два дня (без примерки) я пришла уже за готовым платьем. Пришла, примерила – на мне как влитое. «Ой, пани, красивая! Пани Москва будет?» Я говорю: «Буду». – «Пани Москва идет, все смотрят, я шила». Я говорю: «Да-да, все посмотрят».

Так вот, нарядилась я в это платье перед офицерами. К нему надела туфельки бархатные с бронзовыми застежками – на базаре купила. Как вошла – они и опешили. А я стою и вот так за пояс держусь – ремня-то нет, мне кажется, что у меня штаны сваливаются.

От смущения я разворачиваюсь – и бежать. А дом большой, комнат много, бежала, бежала, они все-таки догнали меня. «Ты чего?». Я говорю: «Пойду, надену гимнастерку». – «Ты что, с ума сошла? Тебе так хорошо!» Под ручки привели меня снова в этот зал.

Подняли первую – за благополучное мое возвращение. А потом... Не помню уж, как они выразились, но нам с Лучкиным, как жениху и невесте, стали кричать «Горько!». Я

сижу, вся покраснела... А комбат мне: «Ну пойми ты... Ты уже демобилизованная, ты свободная... Пара у вас очень хорошая... Ведь мы уже никогда не соберемся вот так вместе. И даже на вашей свадьбе не соберемся. Так давайте мы ее здесь отыграем».

Конечно, мы говорили с ним о будущем, что-то планировали. Договорились, что для начала он приедет ко мне. Когда дивизион вывели из Польши, они стояли в Черновцах. Отца у него не было, были мать и сестра. Они переехали к месту его службы. И потом мать его мне написала. Мол, не рассчитывай, кому вы нужны, ППЖ (походно-полевые жены), не видал он таких чуть ли не проституток и б...дей. Всяко меня оскорбила.

А я не пойму, с чего? Может, он об этом письме и не знал, но я ему ответила – целую тетрадь исписала. Эх, переживала я... А он мне на это пишет: «Матери здесь, конечно, соваться нечего было. Я с ней провел беседу. Но я готовлюсь стать отцом. Прости...»

Я, наверное, год не могла успокоится. Но потом ничего, все утихомирилось. И встретились мы с ним первый раз после войны на 30-летии Победы, в 75-м.

Первую встречу однополчан мы проводили в Ульяновске, все захотели сюда, здесь была формировка, и все хотели видеть, каким стал город. Многие наши думали, что мы тогда поженились. «Ну, чо вы нас тут разыгрываете?» – «Ничего мы не разыгрываем...»

Я ему сразу сказала: «Саша, не надо ничего объяснять...» Он мне рассказал, что женился на продавщице, та любила выпить. И все у нее разговоры: усушка, утруска, недостача...

В первый раз она с ним не приехала, хотя собиралась. Но купила один билет, а дочь объяснила: «Мама сказала, что не поедет с тобой, что у тебя в Ульяновске есть любовь...»

Потом он мне все же объяснился. «Во-первых, я напугался твоего быстрого роста, я уже отстал от тебя крепко...». Я говорю: «Знаешь что, когда человек любит, какое значение имеет карьера? Я сегодня сижу на посту, завтра меня выгнали. Я ко всему готова всегда».

А потом я сказала: «А ты знаешь, может быть, оно так и лучше». Он оказался каким-то материалистом. У этой девки, у родителей в Харькове был дом, она единственная дочь, обеспеченная. И он, наверное, подумал: да куда я еще поеду и как там все еще будет? А тут приходи и все готово.

Командир дивизиона (он сам бросил жену и женился на одной нашей девушке) написал потом Лучкину письмо с упреком: «Что ты сделал?! Такого человека оскорбил и обидел...»

Лучкин мне в письме об этом рассказал, и я ему ответила за Лучкина: «Товарищ подполковник, меня никто не обижал, мы были совершенно свободные люди, я – одно, он – другое. Я не была у него ни в женах, ни в любовницах. Он выбрал то, что для него лучше. И поэтому ничем меня не оскорбил. Я, конечно, переживала. Но ничего, все пережила, все прошло».

А Саша Лучкин уже умер, у него был рак.

Прощальный вечер проводили в польском ресторане. И радовались, и смеялись, и плакали. За эти годы все сжились как одна семья и вот – разъезжаемся. Гуляли до утра: и танцы, и игры всякие. Самое веселое дело. А утром я уехала.

Лучкин меня провожал. Мы приехали в Белтон (это уже Германия), где стоял штаб нашей 85-й дивизии. Я вечером должна сесть на поезд и ехать домой, а он – возвращаться в часть.

Сашка мне говорит: «Слушай, ну что ты всех приветствуешь? Не надоело тебе? Давай переоденься в гражданское». Ну я и надела: новое платье, колготочки (трофейные!), босоножки свои с бархатом. И вот мы идем-идем рядом, он отстанет и сзади на меня смотрит. «Ну, чо ты смотришь?» – «Ой, слушай, я такой тебя не видал...»

Зашли в офицерскую столовую – там кормили по талонам. Лучкин сказал: «Это моя жена».

И там произошел очень интересный разговор. Мы встретили офицера нашего дивизиона (майор, много старше меня). Сидели за одним столиком, и он говорит Лучкину: «Знаешь что, Саша... Я не знаю, можно так любить человека или нет...» Лучкин слушает. «Вот ты любишь Веру». (В первый раз он назвал меня по имени). «Но я ее люблю безгранично... Я тебе ее уступаю...» Я вмешалась: «Как это вы меня уступаете?» Он: «Подожди. Я много тебя старше. Я тебе не дам того, что тебе нужно. Пара вы хорошая. И только потому, что я знаю Лучкина, что он порядочный человек, я тебя ему вручаю». И к нему: «Никогда не обижай ее, она этого не заслуживает».

Вот такое неожиданное объяснение. И ведь все годы службы он даже не намекнул мне о своих чувствах. А в отношении меня и Лучкина – как накаркал...

Нас троих тогда (две девушки – комсорги полков и я – комсорг дивизиона) отозвали в распоряжение ЦК комсо-

мола. А мне так этот комсомол надоел! Я так хотела покоя и тишины. Я хотела в школу.

В Москву тогда было не пробраться, и представитель ЦК ждал нас во Львове. Там были специальные пункты, где командированному военнослужащему можно было привести себя в порядок. Подходишь: там, где мужчины, все спокойно – кто бреется, кто на баяне играет... Ну а там, где девчонки... Господи! Разместили этот пункт в еврейской синагоге: ор, крик, шум. Как черти в бигуди бегают! В общем, сумасшедший дом. Мы тоже навели себе красоту и отправились на прием к начальству.

Штаб размещался в старинном роскошном замке. У генерала, зам. командира дивизии по политчасти (маленький такой человечек) огромный стол и карта Советского Союза. Нам принесли чай, конфеты, преподнесли по шоколадке.

Генерал поблагодарил за службу, а потом сказал: «Теперь страна нуждается в вас как в руководителях тыла. Вы пережили войну, все знаете, все видели. Вы нужны в роли секретарей горкомов, обкомов комсомола. У нас работников не хватает. Вот вам карта, куда покажете, туда дадим направление».

Я думаю: куда я покажу? Я к маме поеду. Говорю: «Ульяновская область». Потом стояла-стояла и вдруг ляпнула (как это у меня получилось неаккуратно): «Товарищ генерал, разрешите обратиться!» – «Обращайтесь!» – «Мне надоел комсомол!» (Это ж надо было в то время так выразиться!) «Разрешите мне работать по специальности».

Он на меня удивленно так посмотрел и вот так рукой: мол, тихо, тихо... «А какая у вас специальность?» – «Я учитель». – «А, ну это тоже идеологический фронт!» По-

дошел, меня обнял, поцеловал и говорит: «Милая моя доченька! Ты сама себе завоевала право работать там, где ты хочешь».

И поехала я домой. А направление ЦК никому не показала.

Когда мы демобилизовались, нам дали паек на целый месяц. Ой, там было: десять килограммов муки, сколько-то банок тушенки, маргарин, конфеты, сахар, крупа, масло, чего-то еще... Громадный чемодан – попробуй, попри-ка ты его! Это ужас один. А куда деваться?

Зато уж дома праздник был! Мама все это развертывала: «Батюшки! Батюшки! Верка! Да откуда это столько?» Я говорю: «Мама, это у нас паек такой был».

Я в Мелекесс приехала, у меня ноги до того распухли, что сверх сапог вываливались. Это мой ревматизм, еще детский, обострился. С вокзала до дома кое-как дошла. Перла вещмешок тяжеленный, чтоб своих накормить поскорее. Чемодан я оставила на вокзале.

Там была такая комната – «Встреча фронтовиков». (Это хорошо было). Выскочила женщина: «Ой-ой, поздравляю, приехала!» Идет впереди меня, бормочет чего-то. А я ей: «Подождите, тетя Шура, давай помедленнее». А меня один лейтенант провожал. (По-моему, контрразведчик. Он ехал со мной со Львова, и я не поняла, кто он был: то у него летная форма, то он зенитчик, то танкист...). Он вышел меня провожать, несет мои вещи. А я только: «Тетя Шура, подожди...»

Она оглянулась. Я говорю: «Тетя Шура, ну ты меня не

помнишь, что ли?» – «А кто ты?» – «Да Вера Соловьева». И вот она: «Да, Верочка, ты моя милая! Да, красавица ты моя!» А этот лейтенант стоит и говорит: «От Львова с ней еду и не заметил, что она красавица».

Она расплакалась, меня целует, а он: «Пошли-пошли, поезд щас уйдет, я вас не дотащу...» Дошли до этой комнаты, распрощались. А тетя Шура давай всем звонить: «Верочка приехала Соловьева! Верочка приехала!» Я ей: «Да тетя Шура! Меня в городе уже нет, четыре года института, три – армии. Кто тут меня уже знает? Не кричи».

А тут привязались из буфета. «Пойдемте, вас накормить надо». Я говорю: «Господи, да мне домой скорее! Домой!» – «Нет, вы поешьте, а потом можете плакать и разговаривать». Привели, посадили, а сами меня окружили и давай спрашивать: «А моего не видела? А моего не видела? И как вы там, девчонки, воевали?»

Сижу, рассказываю. Потом говорю: «Девочки, мне надо идти». Встала и пошла. Одна меня догоняет: «Вы извините пожалуйста, но у нас платят за это». А я в армии привыкла нигде ни за что не платить. Я и дую. «Ой, вы извините, я и забыла, что я уже не в армии».

И вот пошла с этим тяжелым мешком, еле тащусь. Смотрю – идет друг моего брата, без ноги, пьяный в дымищу, и поет, и матерится... Я от него скорей спряталась, чтоб он не привязался. (Он все «любил меня»). Спряталась, тихонечко прошла и – домой.

А мне мой Сашка Лучкин все говорил на прощанье: «Дай телеграмму матери, что ты едешь. Дай телеграмму». Ну, а я не сделала это. А уже сумерки. Подходим мы с мальчиком, соседом. Я иду и говорю: «Ну вот видишь, Эдик, нас никто и не встречает...» Говорю это громко, потому что вижу: там

полная терраска людей, сидят: мама, Нюта, ее сестра, соседи... И вот мы уже вплотную подходим, они не замечают. Я тогда говорю: «Мама, здравствуй!» – «Ах...» И мамы нет, потеряла сознание. «Верка, да ты чо сделала! Давай скорее «Скорую»...»

Пришла мама в себя, я сижу у постели, а она меня вот так по голове все время гладит. Я говорю: «Чего ты меня все гладишь?» – «А я тебя во сне часто видела. Где-то ты на поле сражения лежишь, убитая. И у тебя шапка слетела и волосы кудрявые. И я тебя все глажу...»

Ладно, говорю, нечего реветь, жива!

Она мне сапоги распорола, стащила с меня их, и я неделю лежала. Тишина. Никуда не бежать. Никаких приказов не выполнять. Для меня это был такой отдых!

И пришла одна моя подружка. Бл...дь. Тут стояло полно воинских частей, ее водили по всем землянкам. Она сидит – зевает. Я ей: «Ты чего позеваешь?» – «Ой, как жалко, что кончилась война. Было так весело...»

...Я тогда не контролировала себя. Как соскочила, как сгребла ее за горло: «Ах, ты сука! Тебе война нужна?!» И давай ее душить. Мама подскочила, меня никак не оттащит... «Я тебя убью сейчас, б...дь такая...» А она: «Вера, Вера, ты что, ты что?»

Я опомнилась, бросила ее. Легла, отвернулась к стенке. Она убежала, а мама мне потом говорит: «Вера, так же нельзя...» – «А ей можно? Она видела, как товарищи умирают? Она видела Освенцим? Ей веселье нужно?»

...Вот сколько в жизни всего было. А ее думала, бл...дь, удушу... Весело ей...

Я в конце июля домой приехала. Смотрю, у мамы окна заклеены какими-то бумажками. «Мам, от кого это все заклеено?» – «Это, Вера, чтоб бомбы стекло не разбили». – «Мама, какие бомбы?..»

И вот лежу я день, лежу второй... Открою глаза, мама стоит надо мной и плачет. Я говорю: «Ты чего плачешь? Ты что, не рада, что я приехала? Что я живая?!» – «Да это, дочка, как будто не ты. Ты раньше из института приедешь, вся улица гремит! А сейчас ты как 80-летняя старушонка. Ты хоть сходи куда...»

А куда я пойду? У меня такая тоска по дивизиону, по всем! Это же как родная семья была. И вот мама мне все: «Иди, иди!» – «Ну ладно, пойду в военкомат, мне надо на учет становиться»

И вот подхожу к горисполкому, сейчас в этом здании внизу магазин «Фиалка», а наверху был горисполком. И возле этого здания почему-то всегда была лужа и почему-то всегда в ней лежала свинья.

Иду как в воду опущенная. За угол заворачиваю – ба! Мои девчонки, все шестеро! Они с эшелоном ехали по домам и здесь у нас вышли те, кто из Ульяновской области. И я их как раз встретила. Они, оказывается, шли ко мне. Ой, как мы бросились друг на друга! Мы уж тут ничего не видели! И то, что в этой луже топчемся, не заметили. А потом смотрим – народ нас окружил и хлопают нам, хлопают. Мы же все в форме!

Ну, куда? «Давайте все ко мне!» Встали в одну шеренгу, взялись за руки и – строевым, с песней. Как грянули: «Артиллеристы, Сталин дал приказ! Артиллеристы! Зовет Отчизна нас». Пришли все к нам домой на III Интернационала. Такое событие надо отметить! Мама посмотрела на меня

внимательно: «Так вот тебе, дочка, что было нужно...»

Гляжу, мама в подпол спускается. «Мама, ты куда?». А она там покопалась, вылезает обратно и ставит на стол две бутылки водки. «Ба! Мама, откуда?!» – «Когда Шурка уходил на войну, я литр закопала – на его возвращение. И когда ты ушла, я вот эти две закопала...»

Наварили картошки, огурцы, помидоры, капуста соленая была. В общем, за вечер, под воспоминания, мы этот литр выпили. Ночью, конечно, глаз не сомкнули. Разговаривали, все песни фронтовые перепели. Соседи тоже ночь не спали – слушали.

К утру все угомонились, спали у нас, на полу, вповалку. А проснулись от странных звуков – колеса скрипят, лошади фыркают. Это за Машей Вершининой из Лебяжьих односельчане приехали (они здесь зерно сдавали). Искать ее долго не пришлось, им сразу показали: там военные девушки гуляют, у Соловьевой.

Выскочили девчонки все в рубахах солдатских, со сна еще не поймут что к чему. Пока собирались, по радио передали сообщение: началась война с Японией. Я говорю: «Ну, девки, давайте скорее по домам». Мы думали, что нас вполне могут забрать в армию – мы все-таки люди обстрелянные.

...Уехали девчата, а мама посмотрела на меня так укоризненно и говорит: «Верка, ты – алкоголичка!» – «Что ты, мама, какая я алкоголичка?! Две бутылки на шестерых взрослых людей!»

Долго мама не могла успокоится.

А недели через две из Лебяжьих приехала Маша Вершинина. (Она на батарее «МЗА» комсоргом была и на

орудии работала). «Верка, у нас в село фронтовики вернулись, колхоз праздник устраивает, поехали!» – «А что, давай!» – «На попутной поедем или пешком?»

Пошли пешком, через поля, через лесочки (ничего не боялись), по дороге пели. Пришли в это Лебяжье. А там колхоз и в самом деле развернулся: прямо на улице выставили столы, к ним лавки, на столах где газетка постлана, а где и просто так. Еда была выставлена по послевоенному времени и по сезону. Но чего точно было много, так это самогону. Очень быстро всем стало весело, говорили праздничные тосты, потом стали петь, плясать. На меня такое веселье нашло, я так там плясала – прямо посреди улицы, и вприсядку, и с платочком, – что потом несколько месяцев в это Лебяжье не ездила – стыдно почему-то было.

Три дня праздновали. Мама тут меня потеряла, не знала, что и делать.

Первое время часто снилась война. Вскакивала, кричала, плакала, хохотала. Мама меня все ловила. Утром, бывало, сядет ко мне на кровать, заплачет: «Господи, чего с тобой война сделала...» Я говорю: «Ничего, мама, время пройдет, все на свои места встанет...»

Потом, за эти годы, мы организовали семь встреч однополчан. До двухсот писем отправляла по всему Союзу. Первая встреча – через 30 лет, в Ульяновске. Все очень изменились, с трудом узнавали друг друга, знакомились заново. Собралась опять большая родная семья, и мы снова все были молодыми.

Специально к нашей встрече Маруся Марусева, бывшая наводчица, написала вот это стихотворение.

Однополчанам

В чудесный майский день на родине вождя
Встречаются мои однополчане.
Всем сердцем я стремлюсь туда,
И в мыслях я сегодня с вами.

Как много лет прошло с тех пор,
Когда мы, стройные девчонки,
Забыв о личном и оставив дом,
Надели здесь впервые гимнастерки.

И туго затянув ремень,
Смотрели в небо... Не на звезды...
Был близко враг. Он каждый день
Мог прилететь, прорваться к мосту.

По этому мосту шли к фронту поезда,
По рельсам раздавался стук их громкий.
И этот мост доверила страна
Молоденьким парням и худеньким девчонкам.

Взметнула в небо взор огромных глаз
Наводчик Зина – первый номер.
«Цель вижу!» – грубо навела.
«Цель поймана!» – тотчас ей вторю.

И вот сегодня так же, как тогда,
Стою я в мыслях у прибора.

Команду слышу: «По местам!»
«Прибор готов!», «Орудие готово!»

Солидные здесь люди собрались,
Не старые, но большинство седые,
А я вас вижу как тогда,
Когда вы были молодые.

И каждый год в дни торжества,
В день славной Армии и в День Победы
Я вспоминаю вас, мои друзья,
Теперь уж бабушки и деды!

Одна наша девушка после войны вышла замуж, а муж ее потребовал, чтоб она выбросила все документы и никому никогда не говорила, что она воевала. Он был абсолютно убежден, что в армии были одни бл...ди.

Но вот когда он приехал с ней на одну нашу встречу, на вторую, он мнение свое изменил. Ей пришлось запрашивать документы, мы это все подтверждали. А этот муж нам потом даже написал стихотворение.

Вторая встреча была в 76-м году, в Киеве. Третья – снова в Ульяновске, в 79-м, четвертая – в Рыбнице, в Молдавии. Пятая – на 40-летие Победы – в Ульяновске, шестая – в 1988-м, в Тольятти, седьмая – в 89-м, в Бобруйске.

Командир батареи «МЗА» Толя Степанов после войны стал инженером-строителем. Он женился на руководительнице нашего ансамбля песни и пляски. А у нас ведь это запреща-

лось. Узнали об этой связи и его перевели – куда-то повыше. Тамара осталась у нас. Так он вскоре добился ее перевода к себе и они с разрешения начальства поженились.

После войны они жили в Тольятти, у них уже было две дочки. Ему поручили построить гостиницу, шикарную, на обрыве, недалеко от Волги. И он сказал: «Давайте договоримся. Как только гостиницу сдаем, первый заезд будет для моих однополчан». И вот мы приехали, жили там пять дней, очень хорошо встретились и отдохнули. Нас там было около ста человек.

...Потом на мои письма все чаще стали приходить ответы: «Папа умер» или: «Мама умерла». Отвечали дети, потом отвечали внуки...

Живых осталось немного.

Толя Жиляев (полковник в отставке, он был у нас начальником артснабжения: чтоб все пушки стреляли и все тягачи работали) звонил мне в этом году на день Победы, он в Пензе живет.

Жива Зина Башмачникова, она на третьей батарее служила. Живет в Алуште, тоже одна. Когда звонит, все время повторяет: «Верочка, ты знаешь, как я тебя люблю?» Я уж ей говорю: «Хватит о любви. Давай о жизни поговорим. Как ты живешь?»

Она тоже заключила какой-то договор пожизненного обслуживания. Ей приличный человек попался, он ей помогает во всем, хорошо за ней ухаживает. Так что у меня о ней забот нет, нормально там все. Глухая, конечно. Наорешься, пока с ней поговоришь.



1946 год. Мелекесс. Столько нас осталось из трех классов.

Август 1949 года.
Курорт Светлогорск.



Директор школы № 17.

В пальто из ротонды.



1-й зам.председателя горисполкома.



Май 1966 года. Санаторий под Пятигорском.
Сергей Шаров: “Что же ты, комсомольский бог, меня не узнала?!”

Витя подрастает.

А здесь он уже курсант Военно-технического.



Ульяновск.
30 лет спустя.



“А этих, Вера, ты помнишь?”



Встреча в Рыбнице, Молдавская ССР. Посещение плодосовхоза. 1984 год.

В дружине имени Тоси.



Июнь 1995 года.
Внук Саша получил диплом врача.



Ундоры. Реабилитационный центр для ветеранов.

Почетные граждане Димитровграда.



Чтобы помнили...

Когда с фронта вернулась, пошла работать в четвертую школу, она была там, где мелькомбинат. Не хотела вначале: там учительница на моем месте уже третий год работала, ученики к ней привыкли, она привыкла. А мне было все равно – хоть в какую школу.

Подхожу к учительской и слышу: «Сколько миллионов поубивали, а она явилась тут!» Вы знаете, у меня ноги подкосились. Я обезумела. После всей этой крови, после гибели товарищей, после всего – такое услышать...

Я открываю дверь и говорю: «Да, явилась. Вам мало миллионов погибших? Еще не хватает, да?» Потом говорю ей: «Вы знаете, я шла с намерением сделать так, чтоб вы остались здесь. Вы привыкли, дети к вам привыкли. Мне все равно в какую школу идти. А сейчас я остаюсь».

Их, как она сорвалась и выбежала из учительской! А завучем там был мужчина, при котором еще мы с братом в этой школе учились. Он и рад мне, и хочет меня успокоить и как-то сгладить впечатление от некрасивой сцены: «Верочка, Верочка...»

Много позже мне передали слова тогдашней заведующей гороно. «А что это за Соловьева?» – «Она с фронта приехала». – «С фронта? Тогда ее еще надо проверить, можно ли ее подпускать к детям».

Начала я работать. В кабинете химии такой беспорядок, посуда химическая вся грязная, реактивы все перемешаны: и недоступные, и доступные хранятся вместе. В общем, ужасно. Но ребятишки помогали. Ой, как они относились к фрон-

товикам! Вы знаете, они только смотрели, чем бы тебе помочь.

Год я ходила на работу в военной форме. «На выход» у меня было только одно платье (остальное все мама в войну продала).

Военруком в школе работал Толя Тарасов (это он с мамой провожал меня на фронт). После тяжелого ранения он был инвалид, но молодость брала свое. Вот начнет хулиганить, гонять меня вокруг стола в учительской... Один раз бегали-бегали, я уже выдохлась, прыг на стул, на стол и стою, поджав руки...

Заходит в это время завуч, мужчина в годах, увидел нас: «Господи... Верочка...» Я говорю: «Ой, простите пожалуйста...» – «Толя, ну нельзя же так!» А Толя: «А чо я? Я ничо, она сама на стол залезла!»

И вот потом ребятишки (когда уж я ушла из школы) мне признались: «Вера Ивановна, а мы ведь тогда за вами в окно наблюдали. Мы ждали, когда вас Анатолий Иванович поцелует...» Я говорю: «Ребятишки, дураки, да с какой же это стати?» – «А вот нам хотелось. Он хороший, мы хотели, чтоб вы полюбили друг друга».

Год после войны я ходила в шинели. Но потом мне мама сшила пальто. У нее еще с Дальнего Востока была ротонда. Это такая богатая модная вещь. Надевается как колокол сверху, без рукавов. (Это для женщин, которые в экипаже едут в театр или на бал, чтобы не помять платье и рукава). Сверху у этой ротонды – сукно, а низ – беличий мех.

И вот мама («Че же ты, Верка, до сих пор все в шинели...») из этой ротонды сшила мне модное зимнее пальто. Огромный воротник, меховая муфта... Я под собой ног не чувствовала от счастья. В школе все ахнули и были рады за меня, что я наконец-то сняла шинель.

И вот на какой-то праздник ученики своими руками сделали коробочку. Туда положили голубую беретку (какую уж достали, но мне сказали: «У вас голубые глаза»), потом губную помаду, пудру и заколки для волос (я никогда ничего с волосами не делала). И в записке пишут: «Вера Ивановна, Вы должны быть у нас самой красивой».

Я же понимала, каких трудов это стоит. Во-первых, достать беретку – это было невозможно. Потом эта косметика... Я пришла, завучу говорю: «Ну вот, взятка». Они все смеются. А мне учительница одна говорит: «Верочка, ты немножечко губы подкрашивай, ты очень бледная».

А я и в самом деле была бледная и худая. Потею, сил никаких нет, аппетита нет. Потом одна врач пришла и говорит: «Верочка, ты мне что-то не нравишься...». Начала меня проверять, обнаружила туберкулез. Стали лечить, а тогда ведь ничего не было.

Послали меня на курорт, под Калининград. Ехала через Москву. А у нас из дивизиона еще одна девушка заболела туберкулезом и вообще мы ее потеряли. Звали ее Катя, она была командиром отделения разведки. Красивая! И вот в нее влюбился один жид, москвич. Я вообще к евреям нормально отношусь, а этот был именно жид. Мы ее хором отговаривали: «Катя, Катя! У тебя же есть хороший парень». А у нее был летчик. Нет, видно, тот вскружил ей голову, она

влюбилась. Вернулась она после фронта домой, и он ее вызвал в Москву.

Мать, когда Катя уезжала, сказала ей: «Что бы с тобой ни случилось, сюда ни в коем случае не возвращайся». Катя приехала к ним в Москву, пожила неделю, и они (его мать и сестра) выгнали ее.

Она мне потом написала большое тяжелое письмо, где все описала, как они с ней обошлись. Деваться Кате было некуда, она поехала в Ленинград, к брату. А тот с женой и детьми ютился в коммуналке. Больше от Кати никаких вестей не было. Она болела туберкулезом, а Ленинград – не самый для этого хороший город.

И вот я еду на курорт через Москву. Думаю, дай-ка я найду этого суку и скажу ему все, что о нем думаю. Прихожу к ним, открывают мать и сестра. Дверь открыли, а меня не пускают. Я говорю: вот, такая-то, мне нужен Дмитрий. «А его сейчас нет, он на работе». – «Ничего, я подожду, он мне нужен. Может, вы меня пустите в дом?»

Зашла, сижу. Приходит этот. Поздоровались. Слышу, мать из кухни: «Митя, время обедать! Митя, иди обедать!» Он уходит обедать, я сижу одна. Сижу, все во мне кипит. Думаю: вот это фронтовик, вот это однополчанин! Приходит. Я говорю: «Ну что, ребеночек, наелся? Проводи меня».

Смотрю – эти мать с сестрой все в напряжении – к их Митеньке опять ППЖ приехала и что у нее на уме? Выходим на улицу. Я как накрыла его матом! Ах ты, сволочь такая? И со всего маху его по морде. «Это тебе за Катю! И это тебе за Катю!» Люди на улице смотрят, он стоит, ловит мои руки. А я ему еще и еще…

Развернулась и пошла. Он меня догнал. «Погоди, я тебе все объясню…» Я не стала его слушать, села в трамвай и

уехала. Хотела ей написать: «Катя, я за тебя отомстила!» Искали ее и в Ленинграде, и в Пензе, откуда она родом – не нашли.

Лечили меня в санатории Совета Министров под Калининградом, сейчас этот городок называется Светлогорск. Там было шестиразовое питание. А я-то четыре года в институте недоедала... Ну, в армии голодными не были, простая пища, но были сыты. А домой вернулась – тоже туговато жили, по карточкам. И вот на этом шестиразовом питании за месяц на шесть килограммов поправилась. И от туберкулеза постепенно вылечилась.

Работаю в школе. А тут как-то физрука не было и утром я вывела всю школу на физзарядку. (Тогда это у нас было правилом). Командую им: направо, налево, бегом марш! Делай так, делай эдак! В общем, занимаемся. Смотрю краем глаза – кто-то подъехал. Машин тогда не было, начальство ездило в пролетках. Тут учительница подбежала: «Секретарь горкома партии приехал...» Ну ничего. Я командую громко: «Смирно! Равнение на середину!» Сама подхожу к нему строевым шагом: «Товарищ секретарь горкома партии! Учащиеся школы № 4 на утренней физической зарядке! Ведет зарядку такая-то!» Он улыбнулся, посмотрел, сказал: «Вольно». А я скомандовала ребятам и увела их в здание школы.

А тут меня черт дернул выступить на городском комсомольском активе. Актив собирался два раза. Первый раз сорвался из-за неявки. Первым секретарем горкома комсомола был Борис Школьник (я его еще до войны знала). Говорю: «Борька, ну какой черт этот твой актив?! Актив не

является на городской актив! Ну как это может быть?»

Ну, на второй раз собрались, был уже полный зал. Я их и расчесала! «Да как это так?! Мы это постановление ЦК еще в армии обсудили и уже выполняли. А вы здесь сидите и только еще собираетесь его обсуждать. Да еще и на актив не являетесь!»

Там присутствовала завотделом пропаганды горкома партии. На другой день меня вызвали, предложили быть вторым секретарем горкома комсомола. (Опять комсомол!). Я отказывалась. «Дайте мне в школе работать. Устала я от комсомола и от всего». Но нет, еще раз вызвали.

А вторым секретарем был в это время наш бывший соученик, друг моего брата, участник войны, потерявший на фронте ногу. Я говорю: «Нет, не получится» – «Почему?» – «Потому что, во-первых, место занято. Он инвалид, я знаю, что у него ни образования, ни специальности нет. Я его место занять не могу».

Тому парню я ничего не сказала, а через некоторое время меня опять вызывают в горком. «Вашу просьбу удовлетворили». Я говорю: «А что такое случилось?» – «Мы его отправляем на учебу в Высшую партийную школу». – «Вот это другой разговор. Хорошо, я сейчас к нему зайду». – «Идите, но мы вас сегодня утверждаем».

Прихожу, а он такой радостный: «Вера! Высшая партийная школа! Но не знаю, потяну или нет». Я говорю: «Ладно тебе! Мы сейчас все потянем. Ты своим фронтом потянешь».

Он был очень доволен, а я его еще ободряла: «Это очень хорошо. Ты получишь высшее образование, попадешь в партийную номенклатуру, тебя будут вести, растить...» А он мне сказал: «Я уже знаю, Вера, ты будешь вместо меня». Это был ноябрь 45-го года.

Ребятишки мои писали на заборе напротив горкома: «Отдайте нам нашу Веру Ивановну». Никак они не могли это пережить. Илюхин, первый секретарь, меня вызвал и говорит: «До каких пор это будет продолжаться?» – «Иван Георгиевич, я что, их учу что ли? Я и в школе-то уж давно не была...»

А мой брат Александр дошел до Берлина, в 45-м году он был уже майором, служил в отделе репараций. Пришел к одной немке, а она его обругала: «Вы – русские свиньи. Вы даже не знаете, что такое шоколад». Он потом рассказывал: «У меня в глазах в тот момент потемнело, вспомнилось почему-то белорусское село, в котором после немцев колодцы были забиты детскими трупиками... Я ей как дал по морде, и у нее глаз вылетел...»

Его арестовали, она лечилась. Потом была очная ставка. Она его не узнала. Тогда его переодели в военную форму. Она: «Все равно это не он». Так его и выпустили. Потом ему рассказали, что его друзья немку предупредили – если скажешь, что это он, вырежем всю твою семью.

Брат приехал домой в 1947-м, в декабре. Командование знало его как хорошего работника, они ему сказали: «Знаешь что, война кончилась, ты свое уже сделал, давай увольняйся. А то, не дай бог, еще кто-нибудь тут копнет и пойдет дело...»

Он демобилизовался и вернулся в Мелекесс. Уходил сопливым мальчишкой из десятого класса (в декабре 41-го). Их тогда отвезли в Вольское химическое училище. А в это время была угроза Москве, и со всех училищ собрали ребят – почти всех их перебило. Он остался жив и

его тут же отправили под Сталинград. (В училище он и не учился почти, был ускоренный выпуск).

Из-под Сталинграда он писал: «Мама, идут страшные бои. Но мы уже ко всему привыкли. Вот сейчас такая бомбежка, стрельба... Но мы сидим спокойно. Старшина нам обещал баню. (А его раньше не утащить в баню было). Мы, мамуль, помоемся. Ты не волнуйся. Тут слякоть, грязь, но у меня хорошие сапоги, хорошая плащ-палатка. Останусь жив, буду учить Иду». (Это его племянница, у нее отца не стало)...

И вот он вернулся. Я ему говорю: «Учись. Я работаю, а ты учись». А учиться-то было здесь негде. Он был в звании майора, но специальности у него никакой не было. Там он видный человек, а приехал сюда – здесь он никто. И не он один, так много ребят погибло.

Послала я его учиться в электромеханический техникум в Ульяновск. Утром уехал, вечером приехал. «Что такое?» – «Ну да, там 14-летние сидят вот с такими косичками. И я буду старый седой дурак там сидеть?»

На этом образование его закончилось. Был в оркестре, играл по вечерам на трубе. С компанией друзей бурили колодцы. Но морально он был сломлен. Я ему говорила: «Шурка, учись, я получила образование, я для тебя все сделаю. Давай». Но он больше никуда не пошел. Стал пить и очень рано ушел из жизни. Рано умер и его сын Витя, которого я воспитала как родного. И внук Саша тоже рано ушел...

Сейчас мне помогают взрослые дети моей двоюродной сестры Иды. Спасибо им.

...Как-то сразу после войны я приехала в Ульяновск по работе (была тогда секретарем горкома комсомола), иду по Гончарова и вижу большую доску почета «Студенты-отлич-

ники». Думаю: «Дай-ка посмотрю». Вижу: Галька Пушкарева! Батюшки! (Она в штабе была, связистка).

Я – в пединститут. Расшуровала там всех. Секретарша бегала искала ее по аудиториям. Ее вызвали, она выходит... Как мы набросились друг на друга!

И плачем, и смеемся, и наговориться никак не можем... Маша стала учительницей, она и сейчас живет в Ульяновске, в доме, где был магазин «Аквариум».

Большинство наших девчонок получили образование, в основном, заканчивали учительские институты – туда легче было попасть. Почти все вышли замуж, некоторые на встречи приезжали с детьми и внуками.

...А это было году в 66-м. В Кисловодском санатории было много военных. За столиком в столовой я сидела с тремя летчиками. И вот вижу, за столиком в углу сидит мужчина и непрерывно на меня смотрит. Думаю: «Чего пялится?»

Вечером в клубе танцы. Меня приглашают на вальс, мы танцуем. И вдруг вижу: входит вот этот, который глядел, сходу приглашает какую-то женщину и за нами. Мы кружимся, и они рядом. А он хохочет во весь рот. Вальс кончился, мой партнер возвращает меня на место и оставляет, а этот снова рядом и снова хохочет.

Я говорю: «Слушайте, найдите объект посмешнее! Вы что ко мне привязались? Что во мне смешного?» – «Ну, это ты!» Я говорю: «Что значит «ты»?» А он: «174-й ОЗАД помнишь?» Я аж вся вспыхнула! «А ты кто?» – «Сергей Шаров, с батареи «МЗА». Ну, здравствуй, комсомольский бог! Вручала мне комсомольский билет и меня забыла?!»

Три дня мы с ним не расставались, не могли наговориться... Несколько лет переписывались, а что с ним сейчас, не знаю.

В 1950-м году, когда пришла директором в 17-ю школу, мальчишки не хотели учить немецкий язык. Не будем и все! Пришлось нам немецкий отменить, английский и французский учили. Только француза трудно было достать. Но нашли!

И самое ругательное слово было: «Фашист».

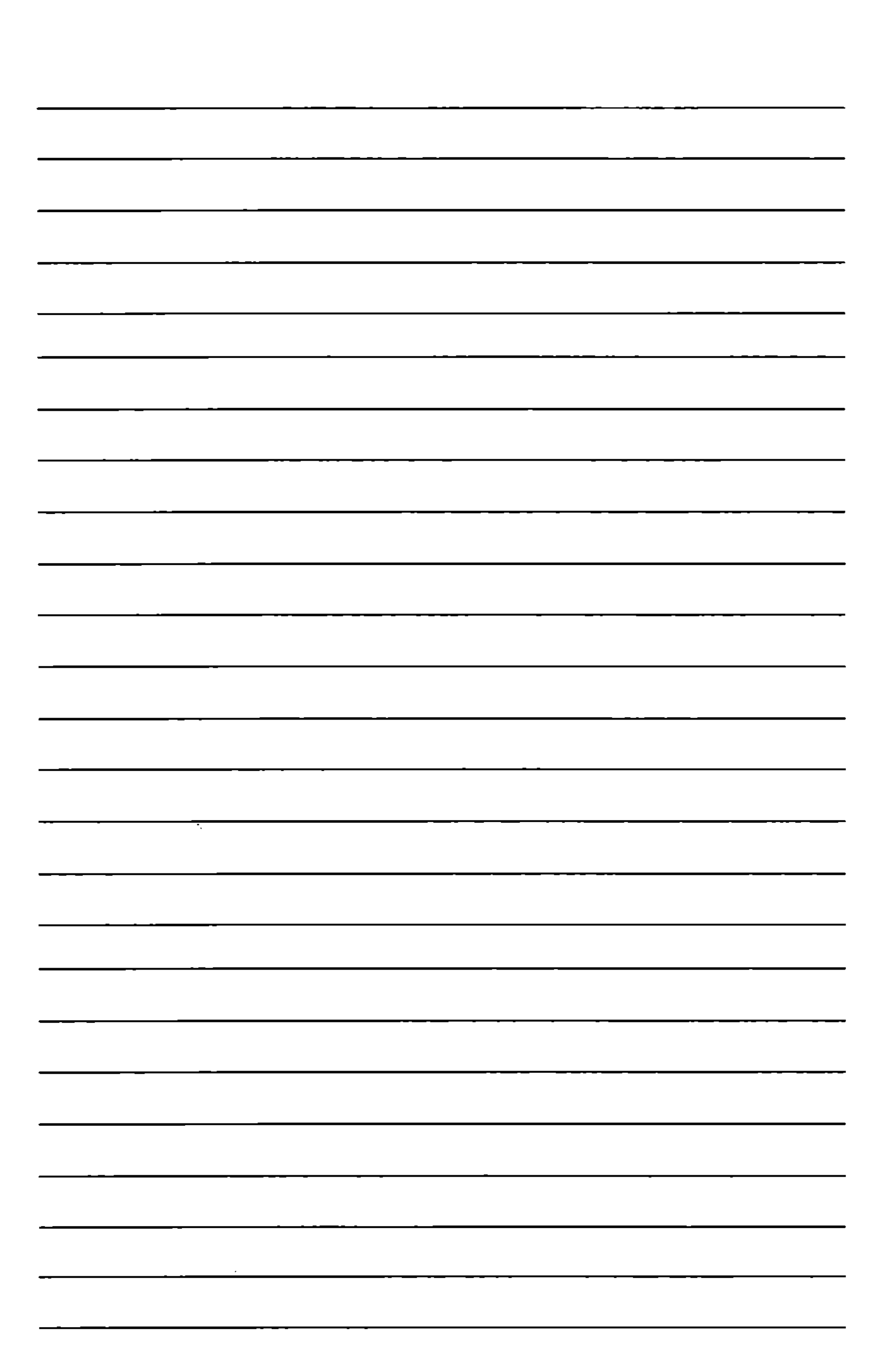
Первые годы после войны, когда выступала перед школьниками, не знала о чем говорить. Ну стреляли, ну убивали, люди погибали. Но вот этим ребятам, которые растут, слава Богу, без войны – зачем это нужно знать? Хотелось их как-то уберечь от всего этого.

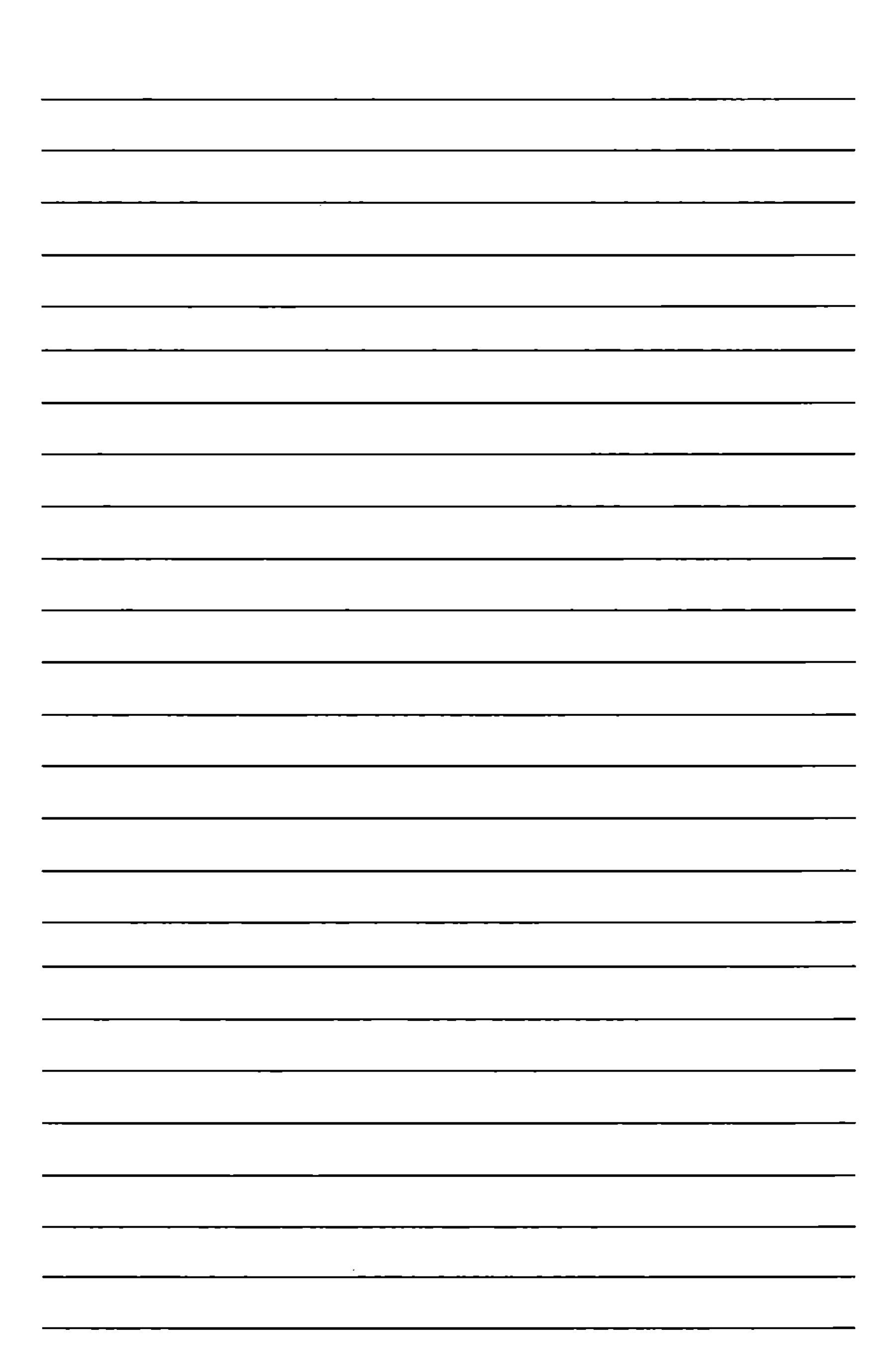
...В этом году 22 июня, в годовщину начала войны, я выступала на городском митинге. Сказала примерно так: «Фронтовики уходят из жизни. Процесс необратимый. Из жизни уходит золотой фонд патриотов, тружеников. Людей с великим терпением. Это терпение помогло нам выиграть войну.

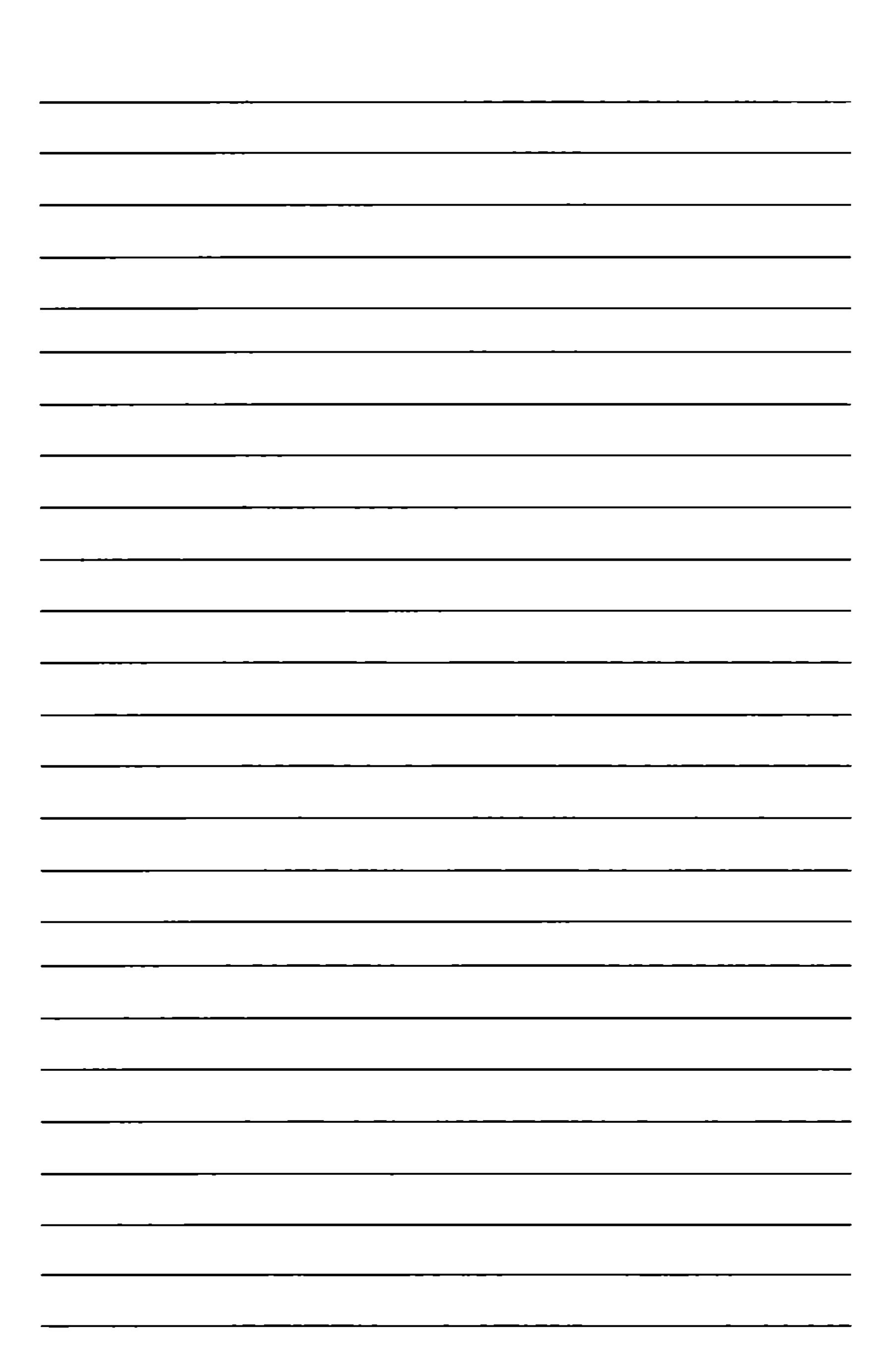
Мы оставляем после себя для вас, молодого поколения, киноленты, книги, песни, отдельные рассказы для того, чтобы вы это смотрели, читали и знали, что такая война была. Не для того, что она нам нужна, а для того, чтобы ее не было».

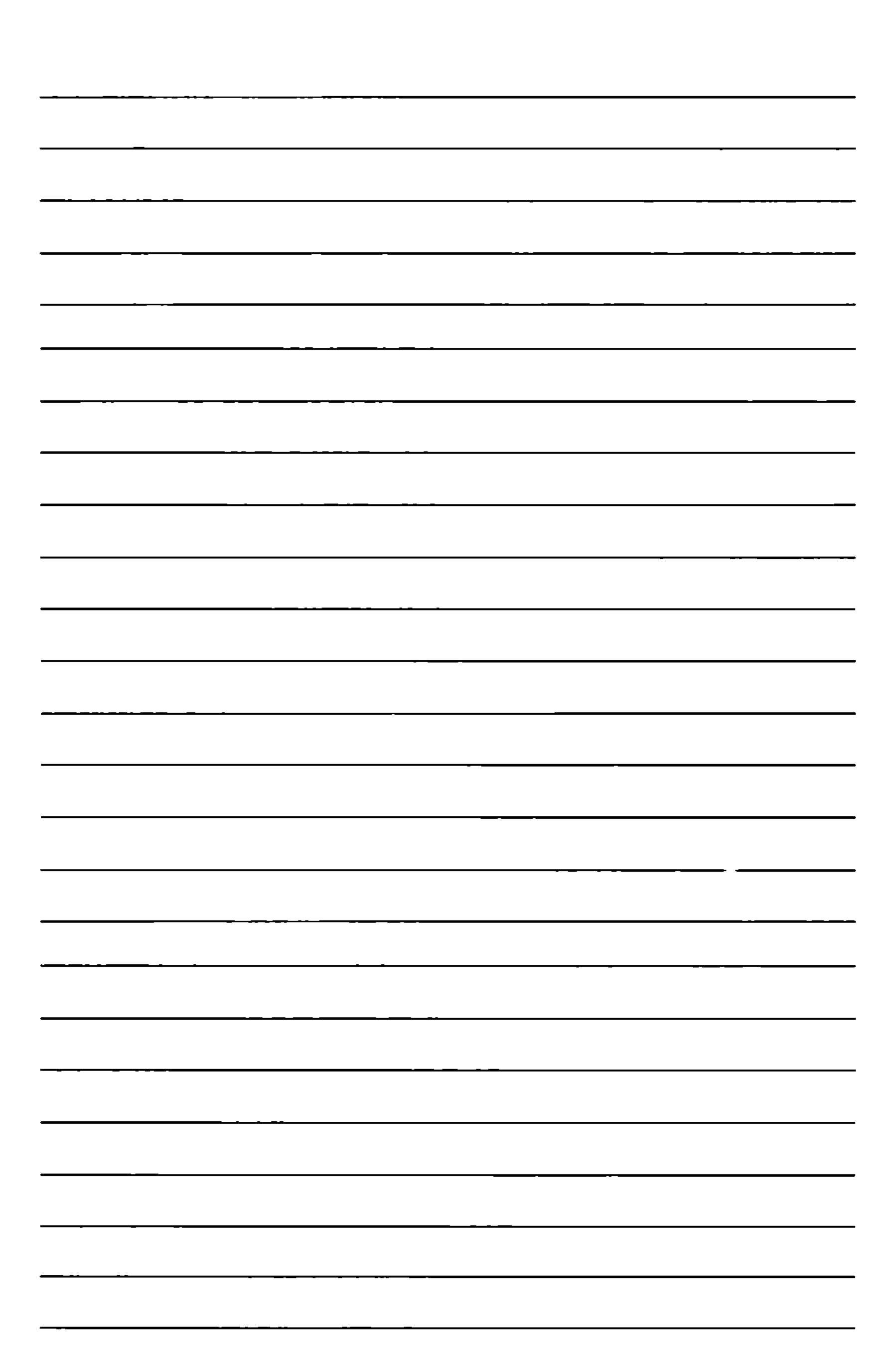
Не знаю, услышали меня или нет...

Впечатления от прочитанного:









Литературно-художественное издание

ДЁМОЧКИН Геннадий Александрович
ВЕРА И ПРАВДА
из цикла «Антология жизни»

Набор текста – О. П. Осипова
Дизайн и верстка – С. М. Зенкина
Корректор – Н. А. Евдокимова

Подписано в печать 31.10.2012. Формат 60x84/16.
Усл. печ. л. 6,28. Тираж 1000 экз. Заказ № 2231.

ОАО «Областная типография «Печатный двор»
432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 27.

По этому мосту шли к фронту поезда,
По рельсам раздавался стук их громкий.
И этот мост доверила страна
Молоденьким парням и худеньким девчонкам.